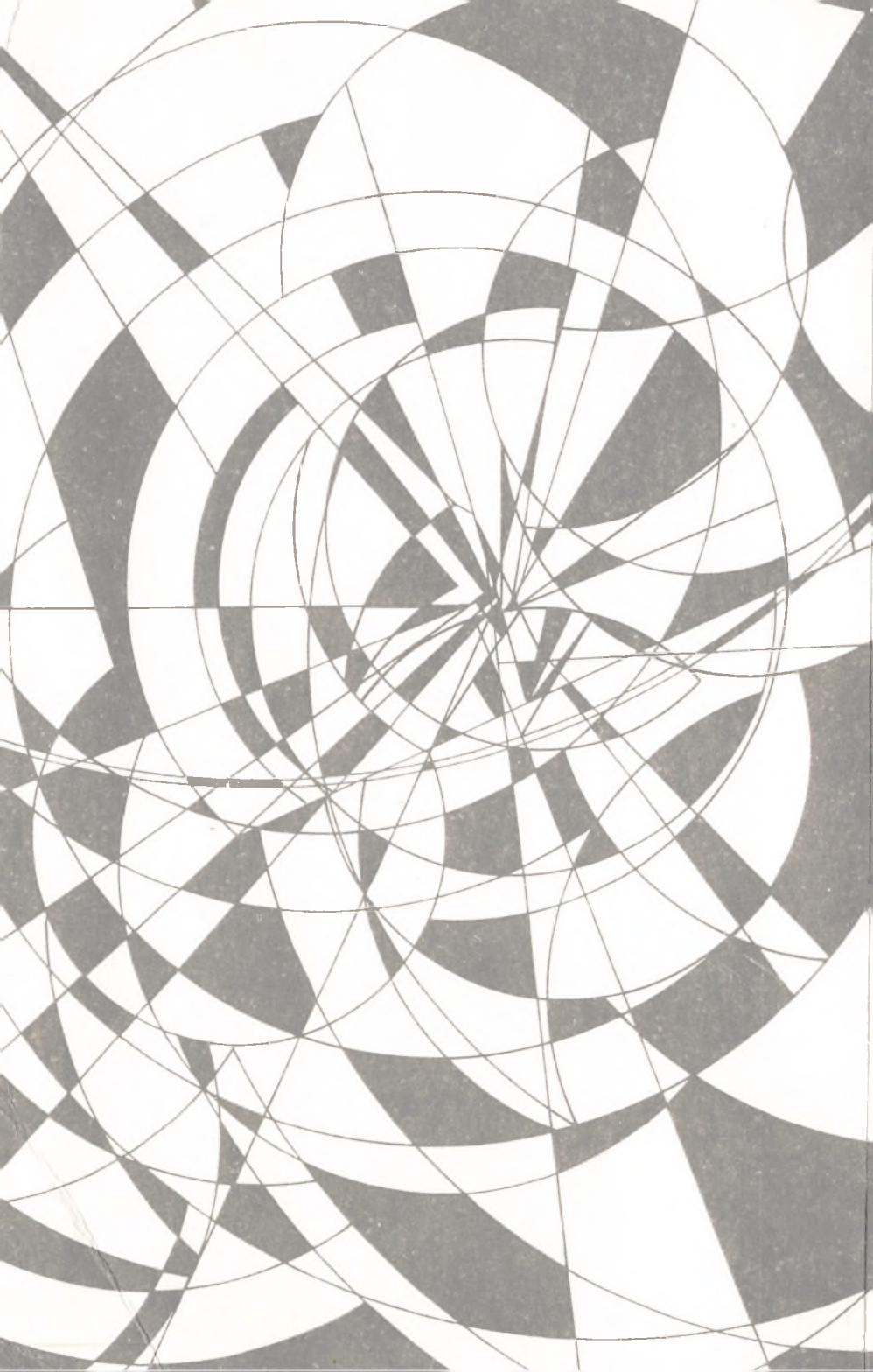




БОРИС СЛУЦКИЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ИЗ НЕИЗДААННОГО



БОРИС СЛУЦКИЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
ИЗ НЕИЗДААННОГО



Москва
Советский писатель
1988

ББК 84 Р7
С 49

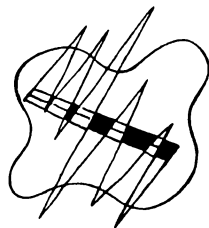
Составитель — Ю. Л. Болдырев

Художник
ВАРВАРА РОДЧЕНКО

4702010202—435
С ————— 236—88
083(02)—88

ISBN 5—265—00327—4

© Издательство
«Советский писатель», 1988



ШЕСТОЕ НЕБО

Любитель, совместитель, дилетант —
Все эти прозвища сношу без гнева.
Да, я не мастер, да, я долетал
Не до седьмого — до шестого неба.

Седьмое небо — хоры совершенств.
Шестое небо — это то, что надо.
И если то, что надо, совершил,
То большего вершить тебе не надо.

Седьмое небо — это блеск, и лоск.
И ангельские, нелюдские звуки.
Шестое небо — это ясный мозг
И хорошо работающие руки.

Седьмое небо — вывеска, фасад,
Излишества, колонны, все такое.
Шестое небо — это дом, и сад,
И ощущение воли и покоя.

Шестое небо — это взят Берлин.
Конец войне, томительной и длинной.
Седьмое небо — это свод былин
Официальных
о взятии Берлина.

Сам завершу сравнения мои
И бережно сложу стихов листочки.
Над «и» не надо ставить точки. «И»
Читается без точки.

* * *

Пошуми мне, судьба, Расскажи,
до которой дойду межи.
Отзови ты меня в сторонку,
дай прочесть мою похоронку,
чтобы точно знал: где, как,
год, месяц, число, место.
А за что, я знаю и так,
об этом рассуждать неуместно.

КЛЮЧИЦА

Опасения не зная
и не ведая забот,
рана бывшая сквозная
в мускулах моих живет.

Он осколок. Он приличный:
полтора на полтора.
Он спокойный и привычный.
Изредка ожжет с утра.

Сердце схватит, поиграет
и отпустит спустя миг.
Много он не забирает
времени и сил моих.

Кончилась война в Европе.
Мир. Иные времена.
А в моей ключице вроде
продолжается война.

Продолжается война,
вроде ни к чему она,
но ее врачам не вынуть
и хирургам не извлечь.
С нею мне и жить и сгинуть,
без нее ни сесть, ни лечь.

В этой маленькой войне
много может приключиться.
Эта самая ключица —
ключ ко многому во мне.

ОБОИ

Я в этот сельский дом заеду,
как уж не раз случилось мне,
и прошлогоднюю газету
найду — обоим — на стене.

Как новость преобразовалась!
Когда-то юная была
и жизнью интересовалась,
а ныне на стену пошла.

Приклеена или прибита,
как ни устроили ее,
она пошла на службу быта
без перехода в бытие.

Ее захваты и поджоги,
случившиеся год назад,
уже не вызывают шоки,
смешат скорее, чем страшат.

Совсем недавно было это:
горит поджог, вопит захват.
Захлебываясь, газеты
об этом правду говорят.

Но уши мира — привыкают,
и очи мира — устают,

и вот уже не развлекают
былые правды их уют,

и вот уже к стене тесовой
или какой другой любой
приклеен мир, когда-то новый,
а ныне годный на обой.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В то утро в мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен — прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
наедине с Москвой
и вот что думал, верно,
как парень с головой:
эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
у штурмовавших небо.
Перемотать портянки
присел на час народ,
в своих ботинках спящий
невесть который год.
Нет, я не думал этого,
а думал я другое:
что вот он был — и нет его,
гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
неистово мели,
как будто рвали корни и
скребли из-под земли,

как будто выдирали из перезябшей почвы
его приказов окрик, его декретов почерк:
следы трехдневной смерти
и старые следы —
тридцатилетней власти
величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.



Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

НАШИ

Все, кто пали —
геройской смертью,
даже тот, кого на бегу
пуля в спину хлестнула плетью,
опрокинулся и ни гугу.
Даже те, кого часовой
застрелил зимней ночью сдуру
и кого бомбежкой сдуло, —
тоже наш, родимый и свой.
Те, кто, не переехав Урал,
не видав ни разу немцев,
в поездах от ангин умирал,
тоже наши — душою и сердцем.
Да, большое хозяйство —
война!

Словно вьюга, она порошила,
и твоя ли беда и вина,
как тебя там расположило?
До седьмого пота — в тылу,
до последней кровинки —
на фронте,
сквозь войну,
как звезды сквозь мглу,
лезут наши цехи и роты,
продирается наша судьба
в минном поле четырехлетнем
с отступленьем,
потом с наступленьем.
Кто же ей полноправный судья?
Только мы, только мы, только мы,

только сами, сами, сами,
а не бог с его небесами,
отделяем свет ото тьмы.
Не историк-ученый,
а воин,
шедший долго из боя в бой,
что Девятого мая доволен
был собой и своею судьбой.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Пристальность пытливаю не пряча
с диким любопытством посмотрел
на меня

 угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.

Кто я — дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
или переправлю под прицел?

Кто я — злейший враг иль первый друг
для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
то ли обойдется вдруг?

Говорит какие-то слова
и в глаза мне смотрит,
взгляд мой ловит,
смотрит так, что в сердце ломит
и кружится голова.

Говорю какие-то слова
и гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
дознаться или же расследовать.

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно,—
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.
Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей?

Футбольным:

быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.

На спину бросаюсь при бомбежке —
по одежке протягиваю ножки.
Тем не менее мы поглядеть должны
в черные глаза войны.

На спину! А лежа на спине,
видно мне
самолеты, в облаках скрывающиеся,
и как бомба от крыла
спину грузную оторвала,
бомбы ясно вижу отрывающиеся.

И пока не стану горстью праха,
не желаю право потерять
слово гнева, а не слово страха
говорить и снова повторять.

И покуда на спине лежу,
и покуда глаз не отвожу —
самолетов не слабей, не плоше!

Как на сцену,
как из царской ложи,
отстраняя смерть,
на смерть гляжу.

Остановился на бегу.
Наган поправил на боку,
а также две гранаты
поправил так, как надо.

Казалось, сердце вовсе пас,
но снова влезло в нужный паз.
Передохнул мгновенье,
а может, полмгновенья.

Теперь до немцев метров сто.
А может, меньше. Ну и что?
Осталось на один бросок,
а пуля, та, что мне в висок
врагом предназначалась,
куда-то прочь умчалась.

ВЕДРО МЕРТВЕЦКОЙ ВОДКИ

...Паек и водка.
Водки полагалось
сто грамм на человека.
Итак, паек и водка
выписывались старшине
на списочный состав,
на всех, кто жил и потому нуждался
в пайке и водке
для жизни и для боя.
Всем хотелось съесть
положенный паек
и выпить
положенную водку
до боя,
хотя старшины
распространяли слух,
что при раненьи
в живот
умрет скорее тот, кто съел паек.

Все то, что причиталось мертвецу
и не было востребовано им
при жизни,—
шло старшинам.
Поэтому ночами, после боя,
старшины пили.
По должности, по званию и по
веселому характеру
я мог бы
рассчитывать на приглашение

в землянку, где происходили
старшинские пиры.
Но после боя
очень страшно
слышать то, что говорят старшины,
считая мертвецов и умножая
их цифру на сто,
потому что водки
шло по сто грамм на человека.

...До сих пор
яснее голова
на то ведро
мертвецкой водки,
которую я не распил
в старшинском
блиндажике
зимой сорок второго года.

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,
и вскользь сообщалось людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем,

а звания ваши, и чин,
и все ордена, и медали,
конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
к обужам его и одежам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадежен.

Я вдруг ощущал на себе
то черный, то синий, то серый,
смотревший с надеждой и верой
взор.
И перемену судьбе

пророчествовали и гласили
не опыт мой и не закон,
а взгляд,
и один только он —
то карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали,
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.



ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Полуподвал, в котором проживал,
где каждый проезжавший самосвал
такого нам обвалу набивал,
насовывал нам в уши или в душу!
Но цепь воспоминания нарушу:
ведь я еще на выставках бывал.

Музейно-было и полутемно
на выставках тогда, давным-давно,
но это, в общем, все равно:
любая полутемная картина,
как двери в полутемную квартиру,
как в полусвет чужой души окно.

Душа людская! Чудный полумрак,
в котором затаились друг и враг,
мудрец, ученый, рядовой дурак.
Все — люди! Человеки, между прочим.
Я в человековеды себя прочил
и разбирался в темных колерах.

На выставках сороковых годов
часами был простаивать готов
пред покорителями городов,
портретами, написанными маслом
в неярком освещении, неясном,
и перед деятелями всех родов.

Какая тропка в души их вела?
Какая информация была

в тех залах из бетона и стекла,
где я, почти единственный их зритель,
донашивал свой офицерский китель
и думал про себя: ну и дела!

Вот этот! Он не импрессионист,
и даже не экспрессионист,
и уж конечно не абстракционист.
Он просто лгун. Он искажитель истин.
Нечист он пред своей мохнатой кистью
и пред натурою своей нечист.

Зачем он врет? И что дает ему,
что к свету он подмешивает тьму?
Зачем, зачем? Зачем и почему?
Зачем хорошее держать в подвале,
а это вешать в самом лучшем зале —
неясно было смыслу моему.

Все это было и давно прошло,
и в залах выставочных светло,
но я порой вздыхаю тяжело
и думаю про тот большой запасник,
куда их сволокли, пустых, неясных,
писавших муторно и тяжело.

* * *

Конец сороковых годов —
сорок восьмой, сорок девятый —
был весь какой-то смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.

Не отличался год от года,
как гунн от гунна, гот от гота
во вшивой сумрачной орде.
Не вспомню, ЧТО, КОГДА и ГДЕ.

В том веке я не помню вех,
но вся эпоха в слове «плохо».
Чертополох переполоха
проткнул забвенья белый снег.

Года, и месяцы, и дни
в плохой период слиплись, сбились,
стеснились, скучились, слепились
в комок. И в том комке — они.

Мои друзья не верили в меня.
Мне — верили. В меня — нисколько.
Не находили внешнего огня,
восторга, обаяния, наскока.

Я ничего у них не взял вперед,
я взял свое, как лампа ток берет,—
с немедленной и точною расплатой
по счетчику, а я за ним следил,
чтоб и рублевки не недоплатил
с любой затеи, точной и крылатой.

С меня хватало и того, что вдруг
моей строкою сердце задевало,
и радовался искренне, бывало,
нечаянно, но от души мой друг.

А я молчал и не напоминал,
какие мне советовались службы
во имя логики, во имя дружбы.
Меня вполне устраивал финал.

ДОБАВКА

Добавить — значит ударить побитого.
Побил и добавил. Дал и поддал.
И это уже не драка и битва,
а просто бойня, резня, скандал.

Я понимал: без битья нельзя,
битым совсем другая цена.
Драка — людей возвышает она.
Такая у нее стезя.

Но не любил, когда добавляли.
Нравиться мне никак не могли,
не развлекали, не забавляли
морда в крови и рожа в пыли.

Слушая, как трещали кости,
я иногда не мог промолчать
и говорил: — Ребята, бросьте,
убьете — будете отвечать.

Если гнев отлютовал,
битый, топтанный, молча вставал,
харкал или сморкался кровью
и уходил, не сказав ни слова.

Еще называлось это: «В люди
вывести!» — под всеобщий смех.
А я молил, уговаривал: — Будя!
Хватит! Он уже человек!

Покуда руки мои хватают,
покуда мысли мои витают,
пока в родимой стороне
еще прислушиваются ко мне,

я буду вмешиваться, я буду
мешать добивать, а потом добавлять,
бойцов окровавленную грудку
призывами к милости забавлять.



ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО МЫСЛИТЬ

Мыслить лучше всего в тупике.
В переулке уже немного погромче,
площадь же, гомоня, и пророча,
и фиксируя на пустяке,
и навязывая устремления,
заглушает ваше мышление.

Мыслить лучше в темном углу.
Если в нем хоть свечу поставить,
мыслить сразу труднее станет:
отвлекаешься на игру
колебания светотени
и на пламени переплетенье.

Мыслить лучше всего на лету
в бездну, без надежд на спасенье.
Пролетаешь сквозь темноту,
но отчаянье и убыстренье
обостряет твои мозги
в этой мгле, где не видно ни зги.

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек.

Я мог бы руку долу опустить,
я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
за что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе...
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.

* * *

Отбиваться лучше в одиночку:
стану я к стене спиной,
погляжу, что сделают со мной,
справятся или не справятся?

Чувство локтя — это хорошо.
Чувство каменной стены, кирпичной —
это вам не хорошо — отлично.
А отличное — лучше хорошего.

Будут с гиком, с криком бить меня,
я же буду отбиваться — молча,
скаля желтые клыки по-волчьи,
сплевывая их по-людски.

Выпустят излишек крови — пусть.
Разобьют скулу и нос расквасят.
Пусть толкут, колотят и дубасят —
я свое возьму.

Хорошо загинуть без долгов,
без невыполненных обещаний
и без слишком затяжных прощаний
по-людски, по-человечески.



ОТЛОЖЕННЫЕ ТАЙНЫ

Прячет история в воду концы.
Спрячут, укроют и тихо ликуют.
Но то, что спрятали в воду отцы,
дети выуживают и публикуют.

Опыт истории ей показал:
прячешь — не прячешь,
топишь — не топишь,
кто бы об этом ни приказал,
тайну не замедляешь — торопишь.

Годы проходят, быстрые годы,
медленные проплывают года —
тайны выводят на чистую воду,
мутная их не укрыла вода.

И не в законы уже,
а в декреты,
криком кричащие с каждой стены,
тайны отложенные
и секреты
скрытые
превратиться должны.

ПРОЗАИКИ

Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебедеenko

Когда русская проза пошла в лагеря —
В землекопы,
А кто половчей — в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы,—
Вы немедля забыли свое ремесло:
Прозой разве утетишься в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирая
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался,

Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.

ЛОПАТЫ

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле параши,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатою ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда́ были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.

Преобразовавшие землю
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.

ПРОЩАНИЕ

Добро и Зло сидят за столом.
Добро уходит, и Зло встает.
(Мне кажется, я получил талон
На яблоко, что познание дает.)

Добро надевает мятый картуз.
Фуражка форменная на Зле.
(Мне кажется, с плеч моих сняли груз
И нет неясности на всей земле.)

Я слышу, как громко глаголет Зло:
— На этот раз тебе повезло.—
И руку протягивает Добру
И слышит в ответ: — Не беру.

Зло не разжимает сведенных губ.
Добро разевает дырявый рот,
Где сломанный зуб и выбитый зуб,
Руина зубов встает.

Оно разевает рот и потом
Улыбается этим ртом.
И счастье охватывает меня:
Я дожил до этого дня.

ВРЕМЯ ВСЕ УЛАДИТ

Ссылки получают имя ссыльных.
Книги издаются без поправок.
В общем, я не верю в право сильных.
Верю в силу правых.

Восстанавливается справедливость,
как промышленность, то есть не скоро.
Все-таки, хотя и не без спора,
Восстанавливается — справедливость.

Восстанавливается! Если остановится
восстанавливаться, это ненадолго.
Постепенно все опять становится
на стезю прогресса, чести, долга.

Все долги двадцатого столетья
двадцать первое заплатит.
Многолетье скрутит лихолетье.
Время — все уладит.

Надо с ним, как Пушкин с ямщиками,—
добрым словом, а не кулаками,
и оно поймет, уразумеет
тех, кто объясниться с ним сумеет.

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Гамарнику, НачПУРККА, по чину
не улицу, не площадь, а — бульвар.
А почему? По-видимому, причина
в том, что он жизнь удачно оборвал:

в Сокольниках. Он знал — за ним придут.
Гамарник был особенно толковый.
И вспомнил лес, что ветерком продут,
веселый, подмосковный, пустяковый.

Гамарник был подтянут и высок
и знаменит умом и бородою.
Ему ли встать казанской сиротою
перед судом?
Он выстрелил в висок.

Но прежде он — в Сокольники! — сказал.
Шофер рванул, получив задание.
А в будни утром лес был пуст, как зал,
зал заседанья после заседанья.

Гамарник был в ремнях, при орденах.
Он был острей, толковей очень многих,
и этот день ему приснился в снах,
в подробных снах, мучительных и многих.

Член партии с шестнадцатого года,
короткую отбрасывая тень,
шагал по травам, думал, что погода
хорошая
в его последний день.

Шофер сидел в машине развалясь:
хозяин бледен. Видимо, болеет.
А то, что месит сапогами грязь,
так он сапог, наверно, не жалеет.

Погода занимала их тогда.
История — совсем не занимала.
Та, что Гамарника с доски снимала
как пешку
и бросала в никуда.

Последнее, что видел комиссар
во время той прогулки бесконечной:
какой-то лист зеленый нависал,
какой-то сук желтел остроконечный.

Поэтому-то двадцать лет спустя
большой бульвар навек вручили Яну:
чтоб веселилось в зелени дитя,
чтоб в древонасаждениях — ни изъяну,
чтоб лист зеленый нависал везде,
чтоб сук желтел и птицы чтоб вещали.
И чтобы люди шли туда в беде
и важные поступки совершали.

В двадцатом веке дневники
не пишутся и ни строки
потомкам не оставят.
Наш век ни спор, ни разговор,
ни заговор, ни оговор
записывать не станет.

Он столько видел, этот век,—
смятенных вер, снесенных вех,
невставших ванек-встанек,—
что неохота вспоминать.
Он вечером в свою тетрадь
записывать не станет.

Но стих — прибежище души.
Без страха в рифму все пиши.
За образом — как за стеною.
За стихотворною строкой,
как за разлившейся рекой,
как за броней цельносталлюю.

Лишь по прошествии веков
из скомканных черновиков,
из спутанных метафор
все извлекут, что ни таят:
и жизнь, и смерть,
и мед, и яд,
а также соль и сахар.



* * *

Снова нас читает Россия,
а не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
и намеки, глухие подчас.

Потихоньку запели Лазаря,
а теперь все слышнее слышны
горе госпиталя, горе лагеря
и огромное горе войны.

И неясное, словно движение
облаков по ночным небесам,
просыпается к нам уважение,
обостряется слух к голосам.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОЦЕНКИ

Прощая неграмотность и нахрап,
читатель на трусость, как на крап
на картах, в разгар преферанса,
указывать нам старался.

Он только трусости не прощал
и это на книгах возмещал:
кто смирностью козыряли,
прочно на полках застряли.

Забыв, как сам он спины гнул,
читатель нас за язык тянул,
законопослушными брезгал
и аплодировал резким.

Хотя раздражала многих из нас
читательская погонялка,
хотя от нажима рассерженных масс
себя становилось жалко,—
но этот повышенный интерес
сработал на литературный процесс.

* * *

Гамлет этого поколения
самосильно себе помог.
Если надо — в крови по колени
проборматывал свой монолог.

Он, довольный своими успехами,
управляя своею судьбой,
шел по сцене, бряцая доспехами:
с марша — прямо бросали в бой.

Как плательщик большие налоги
не желает уплачивать в срок,
не любил он свои монологи
и десятки выбрасывал строк.

Что ему были вражьи своры?
Весь он был воплощенная месть!
Исполнял он свои приговоры
прежде, чем успевал произнести.

Только соображения такта
режиссерам мешали порой
дать на сцене хотя бы пол-акта
под названием «Гамлет — король».

В голову никогда б не пришло,
что «не быть» это тоже возможность,

и актеры на полную мощность
правили свое ремесло.

Ни сомнений и ни угрызений,
ни волнений и ни размышлений
знать тот Гамлет не знал нипочем,
прорубаясь к победе мечом.

Ведомому неведом
ведущего азарт:
бредет лениво следом.
Дожди глаза слезят.

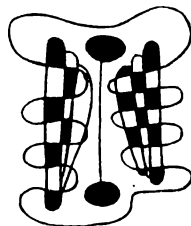
В уме вопрос ютится,
живет вопрос жильцом:
чего он суетится?
Торопится куда?

Ведущий обеспечит
обед или ночлег
и хворого излечит,
и табаку — на всех.

Ведомый лениво
ест, пьет, спит.
Ведущий пашет ниву;
ведомый глушит спирт.

Ведущий отвечает.
Ведомый — ни за что.
Ведущий получает
свой доппаек за то:

коровье масло — 40 грамм
и папиросы — 20 грамм,
консервы в банках — 20 грамм,
все это ежедневно,
а также пулю — 9 грамм —
однажды в жизни.



СЛУЧАЙ

Торопливо взглядывая на́ небо,
Жизнь мы не продумывали наново:
Облака так облака.
Слишком путь-дорога далека.

Поглядим — и вновь глаза опустим,
Пожуем коротенький смешок
И ремень какой-нибудь отпустим:
Слишком врезался в плечо мешок.

Небо — было. Это, в общем, помнили.
Знали! И не приняли в расчет.
Чувствовали. Все-таки — не поняли.
Нечет предпочли ему и чет.

Где-то между звездами и нами,
Где-то между тучами и снами
Случай плыл и лично все решал
И собственноручно совершал.

ОШИБКИ ГЕГЕЛЯ

Нас выучили философии,
но философствовать не дали.
Себя и нас не согласовывая,
шли годы, проносились дали.

И грамотны, и политграмотны,
ошибки Гегеля в подробности
сдав в соответствии с программами,
мы задыхаемся от робости.

Мы как Сократ. Мы точно знаем,
что ничего почти не знаем.

Миры шагами перемеря
в затылок впереди пошедшим,
мы словно Пушкин перед смертью
«Друзья, прощайте!» книгам шепчем.

А Гегель, нами упорядоченный,
конспектный Гегель и тетрадочный,
свои ошибки осознавший
и прогнанный немедля взашей,

а Гегель, изданный и купленный
и листаный, но не прочитанный,
с небес, с верхушки самой купола,
нам улыбается значительно.

* * *

Охапкою крестов, на спину взваленных,
гордись, тщеславный человек,
покуда в снег один уходит валенок,
потом другой уходит в снег.

До публики ли, вдоль шоссе стоящей,
до гордости ли было бы, когда
в один соединила, настоящий,
все легкие кресты твои
беда.

Он шею давит,
спину тяготит.
Нельзя нести
и бросить не годится.
А тяжесть — тяжкая,
позорный — стыд,
и что тут озираться и гордиться!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

У меня еще дед был учителем русского языка!
В ожидании верных ответов
поднимая указку, что была нелегка,
он учил многих будущих дедов.

Борода его, благоухавшая чистотой,
и повадки, исполненные достоинством и простотой,
и уверенность в том, что Толстой
Лев, конечно
(он меньше ценил Алексея),
больше бога!

Разумное, доброе, вечное сея,
прожил долгую жизнь,
в кресле после уроков заснул навсегда.

От труда до труда
пролежала прямая дорога.

Родословие не пустые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
через деда.

Первый доход: бутылки и пробки.
За пробку платят очень мало —
за десяток дают копейку.
Бутылки стоят очень много —
копейки по четыре за штуку.
Рынок, жарящийся под палящим
харьковским августовским солнцем,
выпивал озера напитков,
выбрасывая пробки,
иногда теряя бутылки.
Никто не мешал смиренной охоте,
тихим радостям, безгрешным доходам:
вечерами броди сколько хочешь
по опустевшей рыночной площади,
собирай бутылки и пробки.
Утром сдашь в киоск сидельцу
за двугривенный или пятиалтынный
и в соседнем киоске купишь
«Рассказ о семи повешенных».
Сядешь с книгой под акацию
и забудешь обо всем на свете.
Сверстники в пригородных селах
ягоды и грибы собирали.
Но на харьковских полянах
росли только бутылки и пробки.

* * *

Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах
Бойкие речи торговок толковых?

Много ли знало о стилях сугубых
Веское слово скупых перекупок?

Что
 спекулянты, милиционеры
Мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,
Миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,
Что он московскому говору верен,
От Украины себя отрезал
И принадлежность к хохлам отрицал),
Русский базара — был странный язык.
Я — до сих пор от него не отвык.

Все, что там елось, пилось, одевалось,
По-украински всегда называлось.
Все, что касалось культуры, науки,
Всякие фигли, и мигли, и штуки —
Это всегда называлось по-русски
С «г» фрикативным в виде нагрузки.

Ежели что говорилось от сердца —
Хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана
Вдруг проступало реченье цыгана.

Брызгал и лил из того же источника,
Вмиг торжествуя над всем языком,
Древний, как слово Данилы Заточника,
Мат,
 именуемый здесь матерком.

Все — интервенты, и оккупанты,
И колонисты, и торгоши —
Вешали здесь свои ленты и банты
И оставляли клочья души.

Что же серчать? И досадовать — нечего!
Здесь я — учился и вот я — каков.
Громче и резче цеха кузнечного,
Крепче и цепче всех языков
Говор базара.

УДАРЕНИЯ

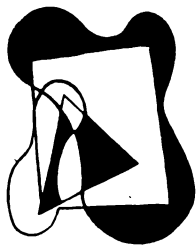
В Харькове Волга русского языка
смешивает свои широкие воды
с Днестром украинского языка.
В Харькове русские слова
выговариваются по-украински.
В Харькове думают по-русски,
говорят по-русски,
но с украинским южным акцентом.
Україна или Укрáина? —
До сих пор не знаю точно.
Мы, харьковские, путаем ударенья.
Удары шли с севера, с юга.
Самый сильный сваливал слово,
и после него харьковчане
устанавливали ударенья.
Я говорю неторопливо
не потому, что обдумываю,
взвешиваю, примеряю слово,
а потому, что расставляю
знаки ударения над каждой гласной.

* * *

Черта под чертою. Пропала оседлость:
Шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
Где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топков,
Мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный дым.
А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
Шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
И в будни, когда он сидел в дураках,
Стянув пояса или брови нахмуря.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,
Не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю немного. Я знаю одно:
Планета сгорела до пепла давно.
Сгорели мелáмеды в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
Сгорели, утопли в потоках летейских,
Исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.



РАЗМОЛ КЛАДБИЦА

Главным образом ангелы, но также Музы и очень давно, давности девяностолетней, толстощекий Амур малолетний, итальянцем изящно изваянный и теперь в кучу общую сваленный.

Этот мрамор валили с утра. Завалили поверхность двора — всю, от номера первой — квартиры до угла, где смердели сортиры. Странно выглядит вечность, когда так ее изваляет беда.

Это кладбище лютеранское, петербургское, ленинградское вырвали из родимого лона, нагрузили пол-эшелона, привезли как-то утром в наш двор, где оно и лежало с тех пор.

Странно выглядит вечность вообще. Но когда эта вечность вотще, если выдрана с корнем, разрушена и на пыльные лужи обрушена,— жалко вечности, как старика, побирающегося из-за куска.

Этот мрамор в ночах голубел, но не выдержал и заробел,

и его, на заре розовеющего
и старинной поэзией веющего,
матерьял его и ореол
предназначили ныне в размол.

Этих ангелов нежную плоть
жернова будут долго молоть.
Эти важные грустные плиты
будут в мелкую крошку разбиты.
Будет гром, будет рев, будет пыль:
долго мелют забытую быль.

Миновало полвека уже.
На зубах эта пыль, на душе.
Ангела подхватив под крыло,
грузовик волочил тяжело.
Сыпал белым по белому снег.
Заметал — всех.
Заваливал — всех.

Я в первый раз увидел МХАТ
на Выборгской стороне,
и он понравился мне.

Какой-то клуб. Народный дом.
Входной билет достал с трудом.
Мне было шестнадцать лет.

«Дни Турбиных» шли в тот день.
Зал был битком набит:
рабочие наблюдали быт

и нравы недавних господ.
Сидели, дыхание затая,
и с ними вместе я.

Ежели белый офицер
белый гимн запевал —
зал такт ногой отбивал.

Черная кость, красная кровь
сочувствовали белой кости
не с тем, чтоб вечерок провести.

Нет, черная кость и белая кость,
красная и голубая кровь
переживали вновь

общелюдскую суть свою.
Я понял, какие клейма класть
искусство имеет власть.

БАЛЛАДА

В сутках было два часа — не более,
но то были правильные два часа!
Навзничь опрокидываемый болью,
он приподнимался и писал.
Рук своих уродливые звезды
сдавливая в комья-кулаки,
карандаш ловя, как ловят воздух,
дело доводил он до строки.
Никогда еще так не писалось,
как тогда, в ту старость и усталость,
в ту болезнь и боль, в ту полусмерть!
Все казалось: две строфы осталось,
чтоб в лицо бессмертью посмотреть.
С тихой и внимательною злобой
глядя в торопливый циферблат,
он, как сталь выдерживает пробу,
выдержал балладу из баллад.
Он загнал на тесную площадку —
в комнатенку с видом на Москву —
двух противников, двух беспощадных,
ненавидящих друг друга двух.
Он истратил всю свою палитру,
чтобы снять подобие преград,
чтоб меж них была одна политика —
этот новый двигатель баллад.
Он к такому темпу их принудил,
что пришлось скрести со всех закут
самые весомые минуты —
в семьдесят и более секунд.
Стих гудел, как самолет на старте,

весь раскачиваемый изнутри.
Он скомандовал героям: «Шпарьте!»
А себе сказал: «Смотри!»
Дело было сделано. Балладу
эти двое доведут до ладу.
Вот они рванулись вперед!
Точка. Можно на подушки рухнуть,
можно свечкой на ветру потухнуть.
А баллада — и сама дойдет!

Знак был твердый у этого времени.
Потому, облегчившись от бремени
ижицы и фиты,
твердый знак оно сохранило
и грамматика не обронила
знак суровости и прямоты.

И грамматика не потеряла,
и мораль не отбросит никак
из тяжелого материала
на века сработанный знак.

Признавая все это, однако
в барабан не желаю бряцать,
преимущества мягкого знака
не хочу отрицать.

Строго было,
но с нами иначе нельзя.
Был порядок,
а с нами нельзя без порядка.
Потому что такая уж наша стезя,
не играть же нам с горькою правдою в прятки.

С вами тоже иначе нельзя. И когда
счет двойной бухгалтерии господ бога
переменит значения: счастье — беда,—
будет также и с вами поступлено строго.

Снова дикция — та, пропитая,
И чернильница — та, без чернил.
Снова зависть и стыд испытаю,
Потому что не я сочинил.

Снова мне — с усмешкой, с насмешкой,
С издевательством, от души
Скажут — что ж, догоняй, не мешкай,
Хоть когда-нибудь так напиши.

В нашем цехе не учат даром!
И сегодня, как позавчера,
Только мучат с пылом и с жаром
Наши пьяные мастера.

Мучат! — верно, но также — учат.
Бьют! Но больше за дело бьют.
Объясняют нам нашу участь,
Оступиться в нее не дают.

Не намного он был меня старше,
Но я за три считал каждый год.
При таком, при эдаком стаже
Сколько прав у него, сколько льгот!

Пожелтела, поблекла кожа —
И ухмылка нехороша.

С бахромою на брюках схожа
Пропитая его душа.

Все равно я снимаю шапку,
Низко кланяюсь, благодарю,
Уходя по ступеням шатким,
Тем же пламенем смрадным горю.

* * *

Всю жизнь готовишься.

Мускулы растишь.

Читаешь книги. Выписываешь выписки.

И ожидаешь тот покой и тишь,

Когда повесишь собственную вывеску.

А где-то генов странная игра

Выталкивает в мир счастливец.

И светом смысла, правды и добра

Он сразу озаряет наши лица.

* * *

Гром аплодисментов подтверждал
правоту строки, не только рифмы.
Словно папы подтверждают Рима
временную правоту.

Все стихи учились наизусть
поколением, быть может, даже
человечеством. А книг в продаже
не бывало.

Да, поэзия вошла в случай.
Задолжали людям неоплатно.
По рублю успеха получай
на пятак таланта.

Прежде недоплачивали всем,
нынче всем переплатили.
И насытились до дна, совсем
люди.

До того стихом обожрались,
что очередное поколение
обнаружит к рифме отвращение
и размер презрит.

* * *

В драгоценнейшую оправу
девятнадцатого столетья
я вставляю себя и ораву
современного многопоэтья.

Поднимаю повыше небо —
устанавливаю повыше,
восстанавливаю, что повыжгли
ради славы, ради хлеба,
главным образом, ради удобства,
прежде званного просто комфортом,
и пускаю десятым сортом
то, что первым считалось сортом.

Я развешиваю портреты
Пушкина и его плеяды.
О, какими огнями согреты
их усмешек тонкие яды,
до чего их очки блистают,
как сверкают их манишки
в те часы, когда листают
эти классики наши книжки.

Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был вареной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже...
Всем этим был уже.

А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом,
зовомым на все свадьбы?
Учебным минералом,
положенным в музее
под толстое стекло
на радость ротозею,
ценителю назло?

Подстрочным примечаньем?
Привычкой порочной?
Отчаяньем? Молчаньем?
Нет, просто — строчкой точной,
не знающей покоя,
волнующей строкою,
и словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня...



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Минуя свое прямое начальство,
минуя следующее начальство,
минуя самое большое,
обращаюсь с открытой душой
прямо к читателю.

Товарищ читатель, купивший меня
за незаметную для бюджета
сумму,

но ждущий от поэта
поддержки внутреннего огня.
Товарищ читатель! Я остался
таким, как был. Но я — устал.
Не то чтобы вовсе излетался,
но полклубка уже размотал.

Как спутник, выпущенный на орбиту
труда и быта,
скоро

в верхний слой атмосферы
войду. И по-видимому — сгорю.
Но то, что я говорю,
быть может, не будет сразу забыто.
Не зря я копался в своем языке.
Не зря мое время во мне копалось:
старый символ поэзии — парус —
год или два

я сжимал в руке.

Год или два

те слова,

что я писал,
говорила Москва.

Оно отошло давным-давно,
время,
выраженное мною,
с его войною и послевойною.

Но,
как в хроникальном кино,
то, что снято, то свято.
Вечность
даже случайного взгляда,
какие-то стороны, грани, края
запечатлели пленка и я.

Храните меня в Белых Столбах,
в знаменитом киноархиве,
с фильмами — хорошими и плохими,
с песней,
почему-то забытой в губах.

МОЛЧАЩИЕ

Молчащие. Их много. Большинство.
Почти все человечество — молчащие.
Мы — громкие, шумливые, кричащие,
не можем не учитывать его.

О чем кричим — того мы не скрываем.
О чем,
о чем,
о чем молчат они?
Покуда мы проносимся трамваем,
как улица молчащая они.

Мы — выяснились,
с нами — все понятно.
Покуда мы проносимся туда,
покуда возвращаемся обратно,
они не раскрывают даже рта.

Покуда жалобы по проводам идут
так, что столбы от напряженья гнутся,
они чего-то ждут. Или не ждут.
Порою несколько минут
прислушиваются.
Но не улыбнутся.

И СРАМ И УЖАС

От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.
Их

даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.

* * *

Уменья нет сослаться на болезнь,
таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
в такую грязь, где не бывать другому.

Как ни посмотришь, сказано умно —
ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господя-то бога?
Господь, он скажет: «Все равно говно!»

Господь не любит умных и ученых,
предпочитает тихих дураков,
не уважает новообращенных
и с любопытством чтит еретиков.

СОВЕСТЬ

Начинается повесть про совесть.
Это очень старый рассказ.
Временами, едва высываясь,
совесть глухо упрятана в нас.
Погруженная в наши глубины,
контролирует все бытие.
Что-то вроде гемоглобина.
Трудно с ней, нельзя без нее.
Заглушаем ее алкоголем,
тешем, пилим, рубим и колем,
но она, на распил, на распыл,
на разлом, на разрыв испытана,
брита, стрижена, бита, пытана,
все равно не утратила пыл.

СЕНЬКИНА ШАПКА

По Сеньке шапка была, по Сеньке!
Если платили малые деньги,
если скалдырничали, что ж —
цена была Сеньке и вовсе грош.

Была ли у Сеньки душа? Была.
Когда напивался Сенька с полочки,
когда его под белые ручки
проводжали вплоть до угла,

он вскрикивал, что его не поняли,
шумел, что его довели до слез,
и шел по миру Семен, как по миру,—
и сир, и наг, и гол, и бос.

Только изредка, редко очень,
ударив шапкой своею оземь,
Сенька торжественно распрямлялся,
смотрел вокруг,
глядел окрест
и быстропоспешно управлялся
со всей историей
в один присест.



* * *

Воспоминаний вспомнить не велят:
неподходящие ко времени.

Поэтому они, скопясь в темени,
вспухают и болят.

— Ведь было же, притом не так давно,
доподлинная истина, святая.

Но чья-то подпись завитая
под резолюцией: «Несвоевременно!»

СТАРЫЕ ОФИЦЕРЫ

Старых офицеров застал еще молодыми,
как застал молодыми старых большевиков,
и в ночных разговорах в тонком табачном дыме
слушал хмурые речи, полные обиняков.

Век, досрочную старость выделив тридцатилетним,
брал еще молодого, делал его последним
в роде, в семье, в профессии,
в классе, в городе летнем.
Век обобщал поспешно,
часто верил сплетням.

Старые офицеры,
выправленные казармой,
прямо из старой армии
к нови белых армий
отшагнувшие лихо,
сделавшие шаг,
ваши хмурые речи до сих пор в ушах.

Точные счетоводы,
честные адвокаты,
слабые живописцы,
мажущие плакаты,
но с обязательной тенью
гибели на лице
и с постоянной памятью о скоростном конце!

Плохо быть разбитым,
а в гражданских войнах .

не бывает довольных,
не бывает спокойных,
не бывает ушедших
в личную жизнь свою,
скажем, в любимое дело
или в родную семью.

Старые офицеры
старые сапоги
осторожно донашивали,
но доносить не успели,
слушали ногами, как приближались шаги,
и зубами скрипели,
и терпели, терпели.

РУКА

Студенты жили в комнате, похожей
На блин,
но именуемой «Луной».
А в это время, словно дрожь по коже,
По городу ходил тридцать седьмой.

В кино ходили, лекции записывали
И наслаждались бытом и трудом,
А рядышком имущество описывали
И поздней ночью вламывались в дом.

Я изучал древнейшие истории,
Столетия меча или огня
И наблюдал события, которые
Шли, словно дрожь по коже, вдоль меня.

«Луна» спала. Все девять черных коек,
Стоявших по окружности стены.
Все девять коек, у одной из коих
Дела и миги были сочтены.

И вот вошел Доценко — комендант,
А за Доценко — двое неизвестных.
Вот этих самых — малых честных —
Мы поняли немедля по мордам.

Свет не зажгли. Светили фонарем.
Фонариком ручным, довольно бледным.
Всем девяти светили в лица, бедным.

Я спал на третьей, слева от дверей,
А на четвертой слева — англичанин.
Студент, известный вежливым молчаньем
И — нацией. Не русский, не еврей,
Не белорус. Единственный британец.
Мы были все уверены — за ним.

И вот фонарик совершил свой танец.
И вот мы услышали: «Гражданин».
Но больше мне запомнилась — рука.
На спинку койки ею опирался
Тот, что над англичанином старался.

От мышц натренированных крепка,
Бессовестная, круглая и белая.

Как лунный луч на той руке играл,
Пока по койкам мы лежали, бедные,
И англичанин вещи собирал.

НАЗВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

Все парки культуры и отдыха
были имени Горького,
хотя он был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.

А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом смысле лучшего
названия не сыскать,
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.

Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро — Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то — кино.

А переименование —
падение знаменовало.
Недостоверное имя

школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,
обрушивалась табличка
с уличного угла.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?



ОРФЕЙ

Не чувствую в себе силы
для этого воскресения,
но должен сделать попытку.

Борис Лебский.
Метр шестьдесят восемь.
Шестьдесят шесть килограммов.
Сутулый. Худой. Темноглазый.
Карие или черные — я не успел запомнить.

Борис был, наверное, первым
вернувшимся из тюрьги:
в тридцать девятый
из тридцать седьмого.
Это стоило возвращения с Марса
или из прохладного античного ада.

Вернулся и рассказывал.
Правда, не сразу.
Когда присмотрелся.

Сын профессора,
бросившего жену
с двумя сыновьями.
Младший — слесарь.

Борис — книгочей. Книгочий,
как с гордостью именовались
юные книгочеи,
прочитавшие Даля.

Читал всех,
Знал все.
Точнее, то немногое,
что книгочеи
по молодости называли
длинным словом «Все».

Любил задавать вопросы.
В эпоху кратких ответов
решался задавать длиннейшие вопросы.

Любовь к истории,
особенно российской,
особенно двадцатого века,
не сочеталась в нем с точным
чувством современности,
необходимым современнику
ничуть не менее,
чем чувство правостороннего автомобильного движения.

Девушкам не нравился.
Женился по освобождению
на смуглой, бледной, маленькой —
лица не помню —
жившей
в Доме Моссельпрома на Арбатской площади,
того, на котором ревели лозунги Маяковского.
Ребенок (мальчик? девочка?) родился перед войною.
Сейчас это тридцатилетний или тридцатилетняя.
Что с ним или с нею, не знаю, не узнавал.

Глаза пришельца из ада
сияют пламенем адовым.
Лицо пришельца из ада
покрыто загаром адовым.
Смахнув разговор о поэзии,
очистив место в воздухе,
он улыбнулся и начал рассказывать:

— Я был в одной камере
с главкомом Советской Венгрии,
с профессором Амфитеатровым,
с бывшим наркомом Амосовым!
Мы все обвинялись в заговоре.
По важности содеянного,

или, точнее, умышленного,
или, точнее, приписанного,
нас сосредотачивали
в этой адовой камере.

Орфей возвратился из ада,
и не было интереснее
для нас, поэтов из рая,
рассказов того путешественника.

В конце концов, Эвридика —
миф, символ, фантом — не более.
А он своими руками
трогал грузную истину,
обведенную, как у Ван Гога, толстой черной линией.

В аду — интересно.

Это
мне,
на всю жизнь запомнилось.

Покуда мы околачивали
яблочки с древа познания,
Орфея спустили в ад,
пропустили сквозь ад
и выпустили.

Я помню строки Орфея:
«вернулся под осень,
а лучше бы к маю».

Невидный, сутулый, маленький —
Сельвинский, всегда учитывавший
внешность своих последователей,
принял его в семинар,
но сказал: — По доверию
к вашим рекомендаторам,
а также к их красноречию.
В таком поэтическом возрасте
личность поэта значит
больше его поэзии.—

Сутулый, невидный, маленький.

В последнем из нескольких писем,
полученных мною на фронте,
было примерно следующее:

«Переводят из роты противотанковых ружей в стрелковую!»

Повторное возвращение
ни одному Орфею
не удавалось ни разу еще.

Больше меня помнят
и лучше меня знают
художник Борис Шахов,
товарищ орфеевой юности,
а также брат — слесарь
и, может быть, смуглая, бледная
маленькая женщина,
ныне пятидесятилетняя,
вышедшая замуж
и сменившая фамилию.

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду.— Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое населенье
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал
как насос высасывал лишних

из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось притко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.

А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

ДОМИК ПОГОДЫ

Домик на окраине.
 В стороне
От огней большого города.
Все, что знать занеадобилось мне
Относительно тепла и холода,
Снега, ветра, и дождя, и града,
Шедших, дувших, бивших
 в этот век,
Сложено за каменной оградой
К сведенью и назиданью всех.

В двери коренастые вхожу.
Тобы голенастые гляжу.
Узнаю с дурацким изумленьем:
В День Победы — дождик был!
Дождик был? А я его — забыл.

Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября
Сорок первого, плохого года
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор:
Злобу, что зияет до сих пор,
И позор, что этот день заполнил.
Больше ничего я не запомнил.

Незаметно время здесь идет.
Как романы, сводки я листаю.
Достаю пятьдесят третий год —

Про погоду в январе читаю.
Я вставал с утра пораньше — в шесть.
Шел к газетной будке поскорее,
Чтобы фельетоны про евреев
Медленно и вдумчиво прочесть.
Разве нас пургою остановишь?
Что бураны и метели все,
Если трижды имя Рабинович
На одной сияет полосе?

Месяц март. Умер вождь.
Радио глухими голосами
Голосит: теперь мы сами, сами!
Вёдро было или, скажем, дождь,
Как-то не запомнилось.

Забылось,
Что же было в этот самый день.
Помню только: сердце билось, билось
И передавали бюллетень.

Как романы, сводки я листаю.
Ураганы с вихрями считаю.
Нет, иные вихри нас мели
И другие ураганы мчали,
А погоды мы — не замечали,
До погоды — руки не дошли.

Десятилетье Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.

Все-таки был ты. Тебя провели.
Меж Девятнадцатым и Двадцать первым —
громом с неба, ударом по нервам,

восстановлением ленинских норм
и возвращением истории в книги,
съезд, возгласивший великие сдвиги!

Все-таки был ты. И я исходил
из твоих прений, докладов, решений
для своих личных побед и свершений.

Ныне, когда поняли все,
что из истории, словно из песни,
слово — не выкинь, хоть лопни и тресни,

я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.

Все же ты был.

* * *

Я когда был возраста вашего,
Стариков от души уважал,
Я про Ленина их расспрашивал,
Я поступкам их — подражал.

Вы меня сначала дослушайте,
Перебьете меня — потом!
Чем живете? Чему вы служите?
Где усвоили взятый тон?

Ваши головы гордо поставлены,
Уважаете собственный пыл.
Расспросите меня про Сталина —
Я его современником был.

ОБЕ СТОРОНЫ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

Все выходят на пенсию — обе стороны, эта и та,
и вопросы на следствии, и ответы на следствии,
и подводится жирная окончательная черта
стародавнего бедствия,
постарения общего вследствие.

У обеих сторон уже нету зубов —
и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.
Обе стороны в вихре обычных забот
продвигаются в сторону естественной гибели.

По ту сторону зла и, конечно, добра,
по ту сторону ненависти, равно как и совести,
обе стороны движутся. Кончилось время, пора:
постарели они и давно одряхлели их новости.

Настоящее брезгует прошлым своим,
а грядущее
с полнок покуда
его не снимает,
и последние тайны, которые глухо таим,
никого уже более
и покамест еще
не занимают.

Кайсыну Кулиеву

Поэты малого народа,
который как-то погрузили
в теплушки, в ящики простые,
и увозили из России,
с Кавказа, из его природы
в степя, в леса, в полупустыни —
вернулись в горные аулы,
в просторы снежно-ледяные,
неся с собой свои баулы,
свои коробья лубяные.

Выпровождали их с Кавказа
с конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу —
сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа —
и так бывает на Руси —
дождались все же оборота
истории вокруг оси.

В ста эшелонах уместили,
а все-таки — народ! И это
доказано блистаньем стиха,
духовной силою поэта.
А все-таки народ! И нету,
когда его с земли стирают,
людского рода и планеты:
полбытия

они теряют.

* * *

Шуба выстроена над калмыком.
Щеки греет бобровый ворс.
А какое он горе мыкал!
Сколько в драных ватниках мерз!

Впрочем, северные бураны
как ни жгли — не сожгли дотла.
Слава не приходила рано.
Поздно все же слава пришла.

Как сладка та поздняя слава,
что не слишком поздно дана.
Поглядит налево, направо:
всюду слава, всюду она.

Переизданный, награжденный
много раз и еще потом,
многократно переведенный,
он не щурится сытым котом.

Нет, он смотрит прямо и точно
и приходит раньше, чем ждут:
твердый профиль, слишком восточный,
слишком северным ветром продут.



ЕВГЕНИЙ

С точки зрения Медного Всадника
и его державных копыт
этот бедный Ванька-Невстанька
впечатленья решил копить.

Как он был остер и толков!
Все же данные личного опыта
поверял с точки зрения топота,
уточнял с позиций подков.

Что там Рок с родной стороною
ни выделявал, ни вытворял —
головую, а также спиною
понимал он и одобрял.

С точки зрения Всадника Медного,
что поставлен был так высоко,
было долго не видно бедного,
долго было ему нелегко.

Сколько было пытану, бито!
Чаще всех почему-то в него
государственное копыто
било.
Он кряхтел, ничего.

Ничего! Утряслось, обошлось,
отвиселось, образовалось.
Только вспомнили совесть и жалость —
для Евгения место нашлось.
Медный Всадник, спешенный вскоре,

потрошенный Левиафан,
вдруг почувствовал: это горе
искренне. Хоть горюющий пьян.

Пьян и груб. Шумит. Озорует.
Но не помнит бывалых обид,
а горюет, горюет, горюет
и скорбит, скорбит, скорбит.

Вечерами в пивной соседней
этот бедный
и этот Медный,
несмотря на различный объем,
за столом восседают вдвоем.

Несмотря на судеб различность,
хвалят культ
и хвалят личность.
Вопреки всему,
несмотря
ни на что
говорят: «Не зря!»

О порядке и дисциплине
Медный Всадник уже не скорбит.
Смотрит на отпечаток в глине
человеческой
медных копыт.

Интеллигенты получали столько же
и даже меньше хлеба и рублей
и вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
очкариками звали — за очки.
Да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный,
и макинтошник — бедный и голодный,
гриппозный, неухоженный чудак.

Тот верный друг естественных и точных
и ел не больше, чем простой станочник,
и много менее, конечно, пил.

Интеллигент! В сем слове колокольцы
опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
интеллигентствовать, как деды и отцы.

ПАМЯТНИК СТАРИНЫ

Все печки села Никандрова — из храмовых кирпичей,
из выветренных временами развалин местного храма.
Нет ничего надежнее сакральных этих печей:
весь никандровский хворост без дыма сгорит до грамма.

Давным-давно религия не опиум для народа,
а просто душегрейка для некоторых старух.
Церковь недоразваленная, могучая, как природа,
успешно сопротивляется потугам кощунственных рук.

Богатырские стены
богатырские тени
отбрасывают вечерами
в зеленую зону растений.
Нету в этой местности
и даже во всей окрестности
лучше холма, чем тот,
где белый обрубок встает.

Кирпичи окровавленные
устремив к небесам,
встает недоразваленный,
на печки недоразобранный.
А что он означает,
не понимает он сам,
а также его охраняющие
местные власти и органы.

А кирпичи согревают — в составе печей — тела,
как прежде — в составе храма — душу они согревали.
Они по первому случаю немного погоревали,
но ныне уже не думают, что их эпоха — прошла.

Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечеть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам!

Все правила — неправильны,
законы — незаконны,
пока в стихи не вправлены
и в ямбы — не закованы.

Период станет эрой,
столетье — веком будет,
когда его поэмой
прославят и рассудят.

Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
пока поэт не скажет,
что он — за это,

до этих пор — не кончен спор.

Критики меня критиковали,
Редактировали редактора,
Кривотолковали, толковали
С помощью резинки и пера.

С помощью большого, красно-синего,
Толстобочного карандаша.
А стиха легчайшая душа
Не выносит подчеркиванья сильного.

Дым поэзии, дым-дымок
Назаметно тает.
Легок стих, я уловить не мог,
Как он отлетает.

Легче всех небесных тел
Дым поэзии, тобой самим сожженной.
Не заметил, как он отлетел
От души, заботами груженной.

Лед-ледок, как в марте, тонок был,
Тонкий лед без треску проломился,
В эту полынью я провалился,
Охладил свой пыл.

НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Ночь

 грохоты второй природы,
ее гудки, ее звонки
не провожает за ворота,
а гонит попросту в толчки.

В огромном вакууме звука,
открывшемся для тварей всех,
любой заика и аука
гремит, словно кузнечный цех.

Не заглушают говор речек
и шумный тополь городской
того, что хочет нам кузнечик
шепнуть
 несильным голоском.

Все выскажутся — только слушай.
Всех выслушают. Всех подряд:
лягушку с ей присущей лужей,
с его обвалом — водопад.

А львиный голос реактивный
в зоологическом саду
внезапно
 взорванной плотиной
вам рявкнет про свою беду.

Все действующее, все живое
напомнить о себе дает.
Вся флора шелестит листвою.
Вся фауна крылами бьет.



МЕСЯЦ — МАЙ

Когда война скатилась, как волна,
с людей и души вышли из-под пены,
когда почувствовали постепенно,
что нынче мир, иные времена,

тогда пришла любовь к войскам,
к тем армиям, что в Австрию вступили,
и кровью прилила ко всем вискам,
и комом к горлу подступила.

И письма шли в глубокий тыл,
где знак вопроса гнулся и кружился,
как часовой, в снегах сомненья стыл,
знак восклицанья клялся и божился.

Покуда же послание летело
на крыльях медленных, тяжелых от войны,
вблизи искали для души и тела.
Все были поголовно влюблены.

Надев захваченные в плен убранства
и натянув трофейные чулки,
вдруг выделились из фронтового братства
все девушки, прозрачны и легки.

Мгновенная, военная любовь
от смерти и до смерти без подробности
приобрела изящества, и дробности,
терзания, и длительность, и боль.

За неиспользованием фронт вернул
тела и души молодым и сильным
и перспективы жизни развернул
в лесу зеленом и под небом синим.

А я когда еще увижу дом?
Когда отпустят, демобилизуют?
А ветры юности свирепо дуют,
смиряются с большим трудом.

Мне двадцать пять, и молод я опять:
четыре года зрелости промчались,
и я из взрослости вернулся вспять.
Я снова молод. Я опять в начале.

Я вновь недоучившийся студент
и вновь поэт с одним стихом печатным,
и китель, что на мне еще надет,
сидит каким-то армяком печальным.

Я денег на полгода накопил
и опыт на полвека сэкономил.
Был на пиру. И мед и пиво пил.
Теперь со словом надо выйти новым.

И вот, пока распахивает ритм
всю залежь, что на душевом наделе,
я слышу, как товарищ говорит:
— Вернись домой —
женюсь через неделю.



Половина лавины
прорвалась сквозь огонь,
а еще половина
не ушла от погонь.

Камнепадом забита
и дождем залита,
половина забыта,
непрошедшая, та.

А прошедшая лава
получает сполна.
Ей и счастье и слава,
а другим — ни хрена.

Последний был в отмену предпоследних.
Приказ приказывал не исполнять приказ
и трактовал о нем не выше, чем о сплетнях
из области штабных проказ.

С командной грациозностью шутил
приказ и применял гримасы стилиа
над скудоумием штабных светил,
которые неправильно светили.

Тому, кто должен исполнять
последний, предпоследний и все прочие,
которые друг друга так порочили,
не оставалось времени пенять.

На то, чтобы судить, чтобы рядить,
уже не оставалось ни мгновенья,
а надо было тотчас проводить
последнейшее самое решенье.

Пока его отмена в роту шла,
траншеи вражки занимая с хода,
роняя на белы снега тела,
рванулась исполнять приказ пехота.

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА

Я заслужил признательность Италии,
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Пленных на Дону и на Донце,
Некормленных, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны.
Она была не для большой войны.

Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова, и вовсе не остыл.
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку — бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!

А бабу — разобрали по куску.

СТИХОПИСАНИЕ В РЕЗЕРВЕ КОМСОСТАВА

Не отзовут из этого резерва,
а злиться будешь — что же, будешь злой.
И ты словно на атомы разорван
и перемешан с небом и золой.

Из этого резерва нету ходу,
отсюда нет никуда путей,
их нету даже в матушку-пехоту —
царицу неумытую полей.

Бобовые два раза в день консервы,
соломка на морозящем полу.
Не отзовут из этого резерва,
лежи
и вслушивайся в тишь и мглу.

Как мглиста мгла!
Как тишина тиха.
Какие мысли в голову приходят,
пока твои бумаги где-то ходят.
Не для тебя удобства.
Для стиха.

Храпит резерв,
закутавшись в шинель,
от отдыха устало отдыхает.
А стих в тебе шумит и не стихает.
Глубокой ночью он всего сильнее.

* * *

Мне первый раз сказали: «Не болтай!»—
По полевому телефону.
Сказали: — Слуцкий, прекрати бардак,
Не то ответишь по закону.

А я болтал от радости, открыв
Причину, смысл большого неуспеха,
Болтал открытым текстом.

Было к спеху.

Покуда не услышал взрыв
Начальственного гнева
И замолчал, как тать.
И думал, застывая немо,
О том, что правильно, не следует болтать.

Как хорошо болтать, но нет, не следует.
Не забывай врагов, проныр, пролаз.
А умный не болтает, а беседует
С глазу на глаз. С глазу на глаз.

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

РККА

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
отступавшую спокойно, здорово,
наступавшую толково,—
я застал в июле сорок первого,
но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше — были срублены
года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
гордое именованье: Красная,
лжа не замарала и напраслина,
с кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
нас — зеленых, глупых, необстрелянных —
обучали воевать и выучили.
Помню их, железных и уверенных.
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежевывшедших
из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
переживших Колыму и выживших,
почестей не ждущих —
ждущих смерти или же победы,
смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
были, отложившие обиды
до конца войны,
этой самой РККА сыны.



Как залпы оббивают небо,
так водка обжигает нёбо,
а звезды сыплются из глаз,
как будто падают из тучи,
а гром, гремучий и летучий,
звучит по-матерну меж нас.

Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.

Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
все, что разбито, снесено.
Пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
за их труды мы пьем вино.

Еще мы пьем за жен законных,
что ходят в юбочках суконных
старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
и мировой пожар раздуем,
чтобы на горе всем буржуйам
согрелась у огня жена.

За нашу горькую победу
мы пьем с утра и до обеда
и снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
нам горько, но и ей не сладко.
Ну, выпили?
Ну — спать пойдём...

ПО РАССКАЗУ Л. ВОЛЫНСКОГО

Генерал Петров смотрел картины,
выиграл войну, потом смотрел.
Все форты, фашины и куртины,
все сраженья позабыв, смотрел.
Это было в Дрездене. В дыму
город был еще. Еще дымился.
Ставили холст за холстом ему.
Потрясался генерал, дивился.
Ни одной не допустив промашки,
называл он имена творцов —
Каналетто за ряды дворцов
и Ван Гога за его ромашки.
Много генерал перевидал,
защищал Одессу, Севастополь,
долго в облаках штабных витал,
по грязи дорожной долго топал.
Может быть, за все четыре года,
может быть, за все его бои
вышла

первая

Петрову льгота,
отпускные получил свои.
Первый раз его ударил хмель,
в жизни в рот не бравшего хмельного.
Он сурово молвит: «Рафаэль.
Да, Мадонна.
Да, поставьте снова».

У меня было право жизни и смерти.
Я использовал наполовину,
злоупотребляя правом жизни,
не применяя право смерти.
Это — моральный образ действий
в эпоху войн и революций.
Не убий, даже немца,
если есть малейшая возможность.
Даже немца, даже фашиста,
если есть малейшая возможность.
Если враг не сдается,
его не уничтожают.
Его пленяют.
Его сажают
в большой и чистый лагерь.
Его заставляют работать
восемь часов в день — не больше.
Его кормят. Его обучают:
врага обучают на друга.
Военнопленные рано или поздно
возвращаются до дому.
Послевоенный период
рано или поздно
становится предвоенным.
Судьба шестой мировой зависит
от того, как обращались
с пленными предшествующей, пятой.
Если кроме права свободы,
печати, совести и собраний

вы получите большее право:
жизни и смерти,—
милуйте чаще, чем карайте.
Злоупотребляйте правом жизни,
пока не атрофируется право смерти.

ПРО ЕВРЕЕВ

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Ставлю на через одно поколение.
Не завтра, а послезавтра.
Славлю дальних звезд заселение
Слогом ихтиозавра.

Будущие годы — значит, следующие.
Многого я от них не жду.
Жду грядущие годы — едущие
В большой ракете
на большую звезду.

Ставлю на Африку, минуя Азию,
Минуя физику — на биологию.
Минуя фантастику, минуя фантазию,
На чудеса — великие, многие.

Ставлю на коммунизм, минуя
Социализм, и на человечество
Без эллина, иудея, раба, буржуя,
Минуя нынешнее отечество.

Из привычных критериев вырвавшись,
Обыденные мерки отбросивши,
Ставлю на завтрашний выигрыш
С учетом завтрашнего проигрыша.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

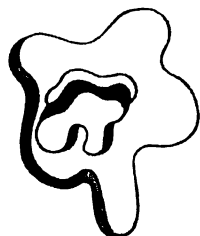
Хочется живому жить да жить.
Жить до самой смерти, даже позже.
Смерть до самой смерти отложить
и сказать ей нагло: ну и что же.

Завтрашние новости хочу
услыхать и обсудить с соседом,
чрево ублажить хочу обедом
и душой к чужой душе лечу.

Все кино хочу я досмотреть,
прежде чем залечь в сырой могиле.
Не хочу, чтоб в некрологе смерть
преждевременной определили.

Предпочту, чтоб молодой наглец
мне в глаза сказать решился:
что, ты все живешь?
Совсем зажился!
Хоть бы кончился ты, наконец.

А что сулят нам перемены?
Они идут, как племена.
Они сулят нам перемеры
параметров. А как война?
Теперь большой войны не будет,
четырёхлетней мировой.
Теперь бомбежка не разбудит
и не напомнит: «Ты живой!»



КНОПКА

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до кнопки земля.
Как нажмут — превратятся в тучки
океаны
и в пыль — поля.

Вижу, вижу, чувствую контуры
этой самой, секретной комнаты.
Вижу кнопку. Вижу щит.
У щита человек сидит.

Офицер невысокого звания —
капитанский как будто чин,
и техническое образование
он, конечно, не получил.

Дома ждут его, не дождутся.
Дома вежливо молят мадонн,
чтоб скорей отбывалось дежурство,
и готовят пирамидон.

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до рычага.
Как нажмут — превратится в тучки.
А до ручки — четыре шага.

Ходит ночь напролет у кнопки.
Подойдет. Поглядит. Отойдет.
Станет зябко ему и знобко...
И опять всю ночь напролет.

Бледно-синий от нервной трясучки,
голубой от тихой тоски,
сдаст по описи кнопки и ручки
и поедет домой на такси.

А рассвет, услышавший несмело,
что он может еще рассветать,
торопливо возьмется за дело.
Птички робко начнут щебетать,

набухшая почка треснет,
на крылечке скрипнет доска,
и жена его перекрестит
на пороге его домка.

ГОРОЖАНЕ

Постепенно становится нас все больше,
и все меньше становится деревенских,
и стихают деревенские песни,
заглушенные шлягером или романсом.
Подпол — старинное длинное слово
заменяется кратким: холодильник,
и поет по утрам все снова и снова
городской петух — толстобрюхий будильник.

Постепенно становится нас все больше,
и деревня, заколотив все окна
и повесив пудовый замок на двери,
переселяется в город. Подале
от отчих стен с деревенским погостом
и ждет, чтобы в горсовете ей дали
квартиру со всем городским удобством.

Постепенно становится нас все больше.
Походив три года в большую школу
и набравшись ума, кто сколько может,
бывшие деревенские дети
начинают смеяться над бывшей деревней,
над тем, что когда-то их на рассвете
будил петушок — будильник древний.

Постепенно становится нас все больше.
Бывший сезонник ныне — заочник
гидротехнического института.
Бывший демобилизованный воин
в армии искусство шофера

вплоть до первого класса усвоил
и получает жилплощадь скоро.

Постепенно становится нас все больше,
и стихают деревенские песни,
именуемые ныне фольклором.
Бабушки дольше всех держались,
но и они вопрос решают
и, поимевши ко внукам жалость,
переезжают, переезжают.

НЕДОДАЧА

Недодача. Не до деревни
было даже в истории древней.
С той поры и до этих пор
продолжается недобор.
Деньги, книги, идеи, уют
до сих пор недодают.

На словах в ней души не чают,
а на деле переполучают.
Весь, она и осталась весь —
в этом смысл истории весь.

Грош да грош, за малостью малость
недоимка образовалась:
мужикам горожане должны,
но не в силах признать вины.

Неспособны признать перебора.
Но в последние времена
начинаются перебои.
Вехой же пролегла война...

Покосилось и обносилось,
прохудилось, сжалось село,
и вывозят его на силос,
кто печально, кто веселó,
и, сведя вековые дубравы,

изведя вековые леса,
начинают высаживать браво
ели,
тоненькие, как лоза,
ели,
слабенькие, как слеза.

БАБА МАНЯ

Называет себя: баба Маня.
Точно так же зовут ее все.
Но большое в ней есть пониманье.
Не откажешь в душевной красе.

Та старинная мудрость народа,
по которой казалась природа
книгой, читанной до конца,
до конца бабе Мане известна.
Лета, зимы, осени, весны
с подоплеки и с лица
разумее баба Маня:
все житье и все бытие.
И оказывает вниманье
предколхоза
советам ее.

И в рассказе ее нескучном,
донаучном, не антинаучном,
совесть, честь и благая весть
до известной степени есть.
До известной, конечно, отметки
судит здраво она и метко,
но угадывает не всегда.
Маху дав, говорит: «Года!»

И когда за ее неугады
бабу Маню клеймят и корят,
не отводит в сторону взгляда,
что бы там ей ни говорят.

— С вами спорить разве я смею.
Возраст мне большой подошел.
И расписываться умею
не пером, только карандашом.

Впрочем, даже без карандаша
кое-что понимает душа.

Поколение по имени-отчеству
думавших о самих себе
в изумленьи думать не хочется
о таком повороте в судьбе.

Все их дети
на всем белом свете
просто Вани, Мани и Пети,
не желающие взрослеть
и отказываться от привычки
к уменьшительной детской кличке,
выходить из Вань, Мань и Петь.

Поколенье, что почитало
звания, ордена, чины,
неожиданно воспитало
тех, кто никому не должны.

Поколение, шедшее в ногу
по шоссе, обнаружило вдруг:
на обочине или немного
в стороне, парами — сам-друг,

не желая на них равняться,
а желая только обняться
без затей и без идей,—
поколенье своих детей.

ПЕРВЫЙ ОВОЩ

Зубы крепко, как члены в президиуме,
заседали в его челюстях.
В полном здравии, в лучшем виде, уме,
здоровяк, спортсмен, холостяк,
воплощенный здравый рассудок,
доставала, мастер, мастак,
десяти минуток из суток
не живущий просто так.

Золотеющий лучшим колосом
во общественном во снопу,
хорошо поставленным голосом
привлекает к себе толпу.
Хорошо проверенным фактом
сокрушает противника он,
мерой, верой, тоном и тактом,
как гранатами, вооружен.

Шкалик, им за обедом выпитый,
вдохновляет его на дела.
И костюм сидит, словно вылитый,
и сигара сгорает дотла.

Нервы в полном порядке, и совесть
тоже в полном порядке.
Вот он, этой эпохи новость,
первый овощ, вскочивший на грядке.

Бывший кондрашка, ныне insult,
бывший разрыв, ныне инфаркт,
что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это — факт.

Гады по году лежат на спине.
Что они думают? — Плохо мне.
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
гады понимают за что.

Вот поднимается бывший гад,
ныне — эпохи своей продукт,
славен, почти здоров, богат,
только ветром смерти продут.

Бывший безбожник, сегодня он
верует в бога, в чох и в сон.

Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
чтобы потомки ценили нас
по сумме — злых и добрых дел.

Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
не лишайте, пожалуйста, прав
исправиться до конца.

Никоторого самотека!
Начинается суматоха.
В этом хаосе есть закон.
Есть порядок в этом борделе.
В самом деле, на самом деле
он действительно нам знаком.
Паникуется, как положено,
разворачивают, как велят,
обижают, но по-хорошему,
потому что потом — простят.
И не озаренность наивная,
не догадки о том о сем,
а договоренность взаимная
всех со всеми,
всех обо всем.

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и крошечный
запах лжи.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Стыдно, словно обсчитать кассира,
получающего в месяц сто рублей,
или расстрелять из автомата
стаю беззащитных журавлей.

Стыдно. Горько и обидно,
потому что стыдно.

Важный клапан в организме — стыд.

Все простят, а совесть не простит.

Все и думать навсегда забудут —
у бессонницы, как прежде, злой,
память не ослабевает.

По ночам приходит, убивает.

Пилит на куски тупой пилой.

Кто нищей подаст в электричке
По жалости, по привычке
К добру, безо всяких идей:
Чтоб не было стыдно людей?

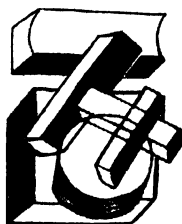
Кто бедной старухе поможет?
Кто грошик в руку положит?
Грошик не значит грош,
Меньше рубля не даешь.

Старуха идет по проходу
И резко поет, пока
Угадывает доброхота,
Кормильца и чудака.

Старуха домик построит,
А может быть, в землю зароет
Кубышку. Или пропьет.
Но покуда она — поет.

Старуха поет, а не просит.
Она поет, а не пьет.
А если слово бросит —
Слово камнем прибьет.

А мы себя не марали
Грязной расхожей морали.
У нас душевный подъем,
Мы слушаем — и даем.



Категориальное мышление,
делящее население
на четыре сорта или пять,
объявляется опять.

Между тем
сортов гораздо больше,
я неоднократно замечал:
столько же,
сколько поляков в Польше,
в Англии, к примеру, англичан.

И любая капля в море
громко заявляет о своем
личном, собственном,
отдельном горе,
воплем оглашает оком.

И любая личная трагедия
катастрофе мировой равна,
и вина пред личностью — вина
перед человечеством,
не менее.

Общества и личности пропорции
обобщать и упрощать
почти то же,
что тащить и не пущать.

Так отбросим прочь
мегаломанию,
заменяя ее совсем
эрой поголовного внимания
всех ко всем.

и про скачки всех государств земли,—
в макулатуру без разрезки шли.

Тот институт, где полуправды дух,
веселый, тонкий, как одеколонный,
вital над перистилем и колонной,—
тот институт усердно врал за двух.

ИЗДЕРЖКИ ПРОГРЕССА

За привычку летать
люди платят отвычкою плавать,
за привычку читать
люди платят отвычкою слушать,
и чем громче
у телевиденья слава,
тем известность
радиовещанья
все глуше.

Достиженье
и постиженье,
падая на чашку весов,
обязательно вызывают стяженье
поясов.

И приходится стягивать
так, что далее некуда.
Можно это оплакивать,
но обжаловать некуда.

ТЕНИ КОСТРА

Самые насущные законы
общежития
еще в пещере
были человечеству знакомы
и опробованы в полной мере.

Проверяли их, проверяли
их
и заносили на скрижали,
ничего они не потеряли!
Держат точно так же, как держали.

За душу и посейчас хватают,
кажется, костра большие тени.
До сих пор торжественно витают
над законами простыми теми.



НЕ ЗА СЕБЯ ПРОШУ

За себя никогда никого не просил,
потому что хватило мне сил
за себя не просить никого никогда,
как бы ни угрожала беда.

Но просить за других, унижаться, терпеть,
даже Лазаря петь,
даже Лазаря петь и резину тянуть,
спину гнуть,

спину гнуть и руками слегка разводить,
лишь бы как-нибудь убедить,
убедить тех, кому все равно —
это я научился давно.

И не стыд ощущаю теперь я, а гнев,
если кто-нибудь, оледенев,
не желает мне внять, не желает понять,
начинает пенять.

Но и гнев я надежно в душе удержу,
потому что прошу
за других — не себе и не в пользу свою.
Потому-то и гнев утаю.

ПРОСТУПАЮЩЕЕ ДЕТСТВО

Просматривается детство.
с поры настоящего детства
и до впадения в детство.

Повадки детские эти
видны на любом портрете
за века почти две трети:
робости повадки,
радости повадки,
резкости повадки.

Не гаснут и не тают.
По вечной своей программе
все время словно взлетают
игрушечными шарами.
Покуда Ване Маня
не скажет на смертном ложе:
я умираю, Ваня,
услышав в ответ:

я тоже.

Полюбил своей хладной душой,
То есть был услужлив и верен,
Знал, докуда за ней бы дошел,
Где бы бросил, если велено.
Все же это была любовь,
Чувство, страсть были в этом все же,
И она была подороже
Чувства, страсти всякой любой.
Полюбил и ждал от нее
Той же верности, той же страсти
В тех же рамках закона и власти,
Регулирующих бытие.



ОБЪЕКТИВНАЯ ЭПИТАФИЯ

Когда велик, когда и невелик,
зато свое болото, как кулик,
не уставая, не переставая,
хвалил,
болота прочие хулил,
пылал к ним ненавистью, не остывая.

И благородных, и неблагородных,
и злых, и добрых чувств
немало он
воспел, прославил и возвел в канон,
обычай чтил, но исполнял закон
и превосходным русским языком,
с которым был с младенчества знаком,
пять или шесть грехов общенародных
запечатлел навеки в бронзе он.

СТОЛЕТЬЯ В СРАВНЕНИИ

Девятнадцатый век отдаленнее
и в теории
и на практике
и Танзании,
и Японии,
и Австралии,
и Антарктики.
Непонятнее восемнадцатого
и таинственнее семнадцатого.
Девятнадцатый век — исключение,
и к нему я питаю влечение.

О, пускай исполнение отложено
им замысленных помыслов всех!
Очень много было хорошего.
Очень много поставлено вех.

Словно бы впервые одумалось
и, одумавшись, призадумалось,
оценило свое калечество
разнесчастное человечество.
И с внимательностью осторожную
пожалело впервые оно
женщину,
на железнодорожное
с горя
бросившую
полотно.

Гекатомбы и армагеддоны
до и после,
но только тогда
индивидуального стона
общая
не глушила беда.
До и после
от славы шалели,
от великих пьянели идей.
В девятнадцатом веке жалели,
просто так — жалели людей.

Может, это и не годится
и в распыл пойдет,
и в разлом.
Может, это еще пригодится
в двадцать первом и в двадцать втором.



В промежутке в ожидании электрички
или между войнами двумя
есть свои законы и привычки.

Долго ждать, пока дойдет, гремя,
электричка та, очередная,
или та, грядущая, война.

Безвре́мье — тоже времена.
Можно жить, но только как, не знаю.

Безвре́мье, интервал, пробел,
как я перед вами обробел.

На войне, всемирной, не терялся,
в электричке, судорожной, ночной,
в чем-то схожей с мировой войной,
не терялся. Нынче — растерялся.

Нужно ждать, ждать, ждать
окончательной обточки.

Нужно дать, дать, дать
времени дойти до точки.

Необходима цель
стране и человеку.
Минуте, дню и веку
необходима цель.

Минуту исключим.
И даже день, пожалуй,—
пустой бывает, шальный,
без следствий и причин.

Но век или народ
немыслим без заданья.
По дебрям мирозданья
без цели не пройдет.

Особенно когда
тяжелая година,
цель так необходима,
как хлеб или вода.

Пусть где-нибудь вдали
фонарик нам посветит
и людям цель отметит,
чтоб мы вперед пошли.

* * *

Сласть власти не имеет власти
над власть имущими, всеми подряд.
Теперь, когда объявят: «Слазьте!» —
слезают и благодарят.

Теперь не каторга и ссылка,
куда раз в год одна посылка,
а сохраняемая дача,
в энциклопедии — столбцы,
и можно, о судьбе судача,
выращивать хоть огурцы.

А власть — не так она сладка
седьмой десяток разменявшим.
Ненашим угоди и нашим,
солги, сообрази, слукавь.
Устал тот ветер, что листал
страницы мировой истории.

Какой-то перерыв настал,
словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.

Поэты потрясали небеса,
Поэты говорили словеса,
А скромные художники
Писали в простоте
Портреты — на картончике,
Пейзажи — на холсте.
Поэт сначала требует: «Вперед!»
Потом: «Назад!» — с волнением зовет,
А тихие ваятели
Долбают свой гранит.
— Какие обыватели! —
Поэт им говорит.

Громкий разговор на улице —
это тоже признак
некоторой, небольшой свободы.

Не весьма великая свобода
все же лучше
грандиозного величья рабства,
пирамид его и колоннад.

Впрочем,
если громкий разговор
спрограммирован
в муниципалитете
вместе с гитаристом
на бульваре
и цветами перед памятником,—

это для туристов.
Это не считается свободой.

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, значит, некрепко держался
За старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!».

С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И, кроме старинных томов,
Иных мне не надо домов.



ПЕРВЫЙ ВЕК

Первый век нашей эры. Недооценка
из поэтов — Овидия. Из пророков — Христа.
Но какая при том глубина, высота.

Он мне кажется синим от неба и солнца,
первый век. Век прокладки широких дорог.
(Кое-что мир до нашего века сберег.)

Все другие — второй, и четвертый, и пятый —
затерялись в библиотечной пыли.
Первый век, словно статую, в прахе нашли.

Не развалины — выше берите — руины!
Все другие — навалом засыплю в суму.
А без первого века — нельзя никому.

Первый век. Все сначала. Первый век.
Все впервые.

О, какие воспоминанья живые
О тебе, первый век.

* * *

Звенела древесина клавесина
от святотатства этого щелчка.
Так точно бы румянцем голосила
ударом оскорбленная щека.

А что же все-таки произошло?
Ну, щелкнули его с небрежным жаром.
Но клавесину было тяжело,
он не привык к бессмысленным ударам.

В тот пакт, что им с людьми подписан был,
взаимное вошло благоговенье,
и оскорбил его небрежный пыл —
небрежность воспринял как оскорбленье.

Какой бы звук он ни издал с тех пор
для украшения людского быта,
в нем явно диссонирует отпор,
в гармонию вплетается обида.

ВСКРЫТИЕ МОЩЕЙ

Когда отвалили плиту —
смотрели на полую бездну —
в бескрайнюю пустоту,
в обратную высоту —
внимательно и бесполезно.

Была пустота та пуста.
Без дна была бездна, без края,
и началась бездна вторая
в том месте, где кончилась та.

Так что ж, ничего? Ни черта.

Так что ж? Никого? Никого —
ни лиц, ни легенд, ни событий.
А было ведь столько всего:
надежд, упований, наитий.
И вот — никого. Ничего.

Так ставьте скорее гранит,
и бездну скорей прикрывайте,
и тщательнее скрывайте
тот нуль, что бескрайность хранит.

* * *

Нечего усиливаться, тщиться.
Жизнь — неукоснительная чтица.
Очередь до вашего листка
не дошла еще пока.

Вас еще прочтут, еще познают,
в средней школе вас еще пройдут
и узнают, кто еще не знает,
чьей эпохи, что вы за продукт.

Пусть несладки или даже гадки
ваши ежедневные дела,
вы еще лежите в той раскладке —
очередь покуда не дошла.

С бытием было проще.
Сперва
не давался быт.
Дался после.
Я теперь о быте слова
подбираю
быта возле.

Бытие, все его категории,
жизнь, и смерть, и сладость, и боль,
радость точно так же, как горе, я
впитываю, как море — соль.

А для быта глаз да глаз
нужен, также — верное ухо.
А иначе слепо и глухо
и нечетко
дойдет до нас.

Бытие всегда при тебе:
букву строчную весело ставишь,
нажимаешь нужный клавиш
и бормочешь стихи о судьбе.

В самом деле, ты жил? Жил.
Умирать будешь? Если скажут.
А для быта из собственных жил
узел тягостный долго вяжут.

СЕДЫЕ БРОВИ

Покуда грядущее время,
не поспешая, грядет —
когда там оно придет,
когда там оно настанет! —
свою суровую нитку,
жестокую нитку прядет
небезызвестная пряха.
Она никогда не устанет.

Как для царя московского,
а также всяя Руси
красавиц всяя Руси
спроваживали на смотрины,
старухи всей России,
свезенные на такси,
выбрали эту пряху,
холодную, как осетрина.

Она объективна, как вобла,
и ежели не глуха,
то все же не хочет слушать
и слышать даже вполуха.
Мы падаем, опадаем,
как полова, шелуха,
она же бровью седою
не поведет, старуха.

И даже у самых смелых
спирает дерзостный дух,

когда они вспоминают
бессоннейшими ночами
густые седые брови
высокомерных старух,
густые седые брови
над выцветшими очами.



ПРЕДКИ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Не болея, умирали предки:
лег и поминать добром велел,—
и упоминанья очень редки,
что такой-то длительно болел.

Крякнув при кондратии и охнув
при разрыве сердца,
вдруг оглохнув,
вдруг ослепнув,
вдруг окаменев,
разом все кончали: радость, гнев.

Все тогда заканчивалось сразу.
В путь — так' без задержек по пути.
Даже историческую фразу
мало кто успел произнести.

В тех кварталах рая или ада,
где располагали после их,
днем с огнем искать старуху надо,
редок, словно ныне зубр, старик.

В общем, предки были молодежь,
юность, младость,
потому в стихах старинных — радость,
горя — не найдешь.

Не найдешь тоски в стихах старинных,
стонов долгих
или жалоб длинных.
Сетований жалких не найдешь,
потому что предки были молодежь.

* * *

Смерть продолжает бытие.
Мое вливается в твое
и в общее.
И горстка праха,
уже не ощущая страха,
родной земли не тяготя,
растит траву и ждет дождя.
И что-то подразумевает,
и думает не торопясь,
покуда дождь ее вбивает
в предшествующие
прах и грязь.

МЕССА ПО СЛУЦКОМУ

А. Дравичу

Мало я ходил по костёлам.
Много я ходил по костям.
Слишком долго я был веселым.
Упрощал, а не обострял.

Между тем мой однофамилец,
бывший польский поэт Арнольд
Слуцкий
вместе с женою смылись
за границу из Польши родной.

Бывший польский подпольщик,
бывший
польской армии офицер,
удостоенный премии высшей,
образец, эталон, пример —

двум богам он долго молился,
двум заветам внимал равно.
Но не выдержал Слуцкий. Смылся.
Это было довольно давно.

А совсем недавно варшавский
ксендз
и тамошний старожил
по фамилии пан Твардовский
по Арнольду мессу служил.

Мало было во мне интересу
к ритуалу. Я жил на бегу.
Описать эту странную мессу
и хочу я и не могу.

Говорят, хорошие вирши
пан Твардовский слагал в тиши.
Польской славе, беглой и бывшей,
мессу он сложил от души.

Что-то есть в поляках такое!
Кто с отчаянья двинул в бега,
кто, судьбу свою упокая,
пану богу теперь слуга.

Бог — большой, как медвежья полость.
Прикрывает размахом крыл
все, что надо — доблесть и подлость,
а сейчас — Арнольда прикрыл.

Простираю к вечности руки,
и просимое мне дают.
Из Варшавы доносятся звуки:
по Арнольду мессу поют!

* * *

Ну что же, я в положенные сроки
расчелся с жизнью за ее уроки.
Она мне их давала, не спросясь,
но я, не кочевряжась, расплатился
и, сколько мордой ни совали в грязь,
отмылся и в бега пустился.
Последний шанс значительней иных.
Последний день меняет в жизни много.
Как жалко то, что в истину проник,
когда над бездною уже заносишь ногу.

* * *

От отчаяния к надежде
я перехожу, но не прежде,
чем надежно удостоверюсь,
что надежда тоже ересь,
звук пустой, залп холостой —
пустоты в пустоте отстой.

Слишком много чувствуем.
Слишком
предаемся тоскливым мыслишкам,
пьем их мед, принимаем яд,
между тем как дела стоят.

А дела стоят, как столбы,
вкопанные посреди судьбы.
А дела стоят, как надолбы,
брошенные без всякой надобы.

А дела стоят, как опоры
недостроенного моста,
по которому очень не скоро,
никогда не пойдут поезда.

ЧТО ПОЧЕМ

Деревенский мальчик, с детства знавший
что почем, в особенности лихо,
прогнанный с парадного хоть взашей,
с черного пролезет тихо.
Что ему престиж? Ведь засуха
высушила насухо
полсемьи, а он доголодал,
дотянул до урожая,
а начальству возражая,
он давно б, конечно, дубу дал.

Деревенский мальчик, выпускник
сельской школы, труженик, отличник,
чувств не переносит напускных,
слов торжественных и фраз различных.
Что ему? Он самолично видел
тот рожон и знает: не попрешь.
Свиньи съели. Бог, конечно, выдал.
И до зернышка сгорела рожь.

Знает деревенское дитя,
сын и внук крестьянский, что в крестьянстве
ноне не прожить: погрязло в пьянстве,
в недостатках, рукава спустя.
Кончив факультет филологический,
тот, куда пришел почти босым,
вывод делает логический
мой герой, крестьянский внук и сын:
надо позабыть все то, что надо.
Надо помнить то, что повелят.

Надо, если надо,
и хвостом и словом повилять.

Те, кто к справедливости взывают,
в нем сочувствия не вызывают.

Тех, кто до сих пор права качает,
он не привечает.

Станет стукачом и палачом
для другого горемыки,
потому что лебеду и жмыхи
ел

и точно знает что почем.

* * *

В этот день не обходили лужи —
шлепали ногами по воде,
хоть, наверно, понимали: лучше
обойти посуше где.

В этот полдень солнце не блистало.
В эту полночь спряталась луна.
Шли по лужам, думая устало:
обходить? какого там рожна!

Все подробности перезабылись,
тени не наводят на плетень.
Помню только: ноги ознобились
в этот день.

* * *

Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды — не праздник, а труд!

Проводы правды оркестров не требуют:
музыка — брезгует, живопись гребует.

В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
бреют, стригут или укорачивают:

молча работают, словно прядут,
тихо шумят, словно варежки вяжут.

Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.

СДЕРЖИВАНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА

Сдерживаю недовольно
сдержанное недовольство,
чтобы вдоволь задержалось
и не выдало себя.
Но испытываю жалость
и жалею сам себя.

От поносного концерта
день-деньской в ушах знобит,
и проценты на проценты
нарастают у обид,
неотмщенных оскорблений,
запоздалых сожалений,
брошенных через плечо
тихих криков
и еще
взоров,
полных яркой злобы,
перехваченных в упор,
потому что смотрят в оба
с давних пор и до сих пор.

Я терпел, терпел, терпел.
Я под вашу дудку пел.
Но терпенье изнашивалось,
прохудилось, как сукно.

Я его пустил на силос,
сдал в утиль давным-давно.

Не пою под вашу дудку,
не пою и не пляшу.
Превращаю пытку в шутку
и веселый стих пишу.

ЗНАЕШЬ САМ!

Хорошо найти бы такое «я»,
чтоб отрывисто или браво
приказало мне бы: «Делай, как я!» —
но имело на это право.

Хорошо бы, морду отворотив
от обычных реалий быта,
увидать категорический императив —
звезды те, что в небо вбиты.

Хорошо бы, вдруг глаза отведя
от своих трудов ежедневных,
вдруг найти вожатого и вождя,
даже требовательных и гневных.

Хорошо, что такое «хорошо»
где-нибудь разузнать наверно,
как оно глубоко, высоко, широко —
чтобы не поступать неверно.

Впрочем, что апеллировать к небесам?
Знаешь сам. Знаешь сам. Знаешь сам.
Знаешь сам.

* * *

Владиславу Броневскому
в последний день его рожденья
были подарены эти стихи

Покуда над стихами плачут,
Пока в газетах их порочат,
Пока их в дальний ящик прячут,
Покуда в лагеря их прочат,—

До той поры не оскудело,
Не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
Хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
Я точности не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,
Поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
Заламывая руки в страхе,
Еще вчера она лежала
Почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
И наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
То, что будет,—
Про это знать она не хочет.

* * *

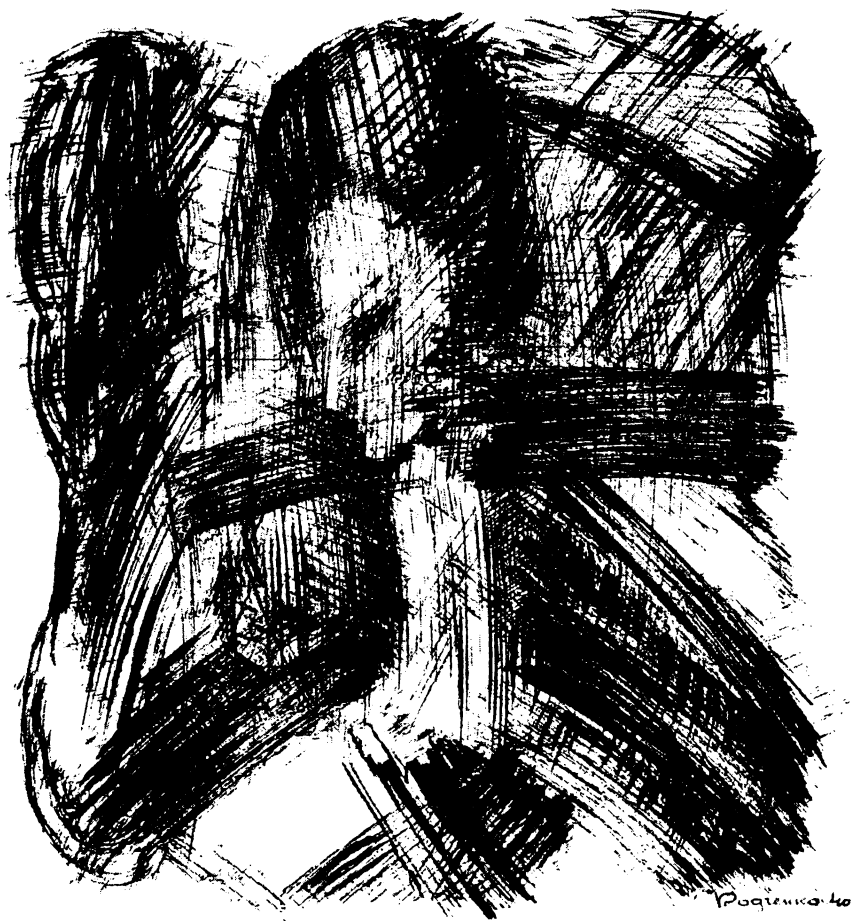
Хорошо бы, жив пока,
после смерти можно тоже,
чтобы каждая строка
вышла, жизнь мою итожа.

Хорошо бы самому
лично прочитать все это,
ничему и никому
не передоверив это.

Можно передоверять,
лишь бы люди прочитали,
лишь бы все прошло в печать —
мелочи все и детали.

ВСЕ СНАЧАЛА!

Размахнулся и — с размаху,
Словно грязную рубаху,
Сбросил с плеч тоску-печаль.
Сбросил грусть, свалил кручину,
И по эдакой причине
Ничегошеньки не жаль.
То, что было, то уплыло.
Все старье я размечу.
Все под ноготь. Все — на мыло.
Жить — по-новому хочу.
Все, что было,— все умчало.
Начинаю все сначала.
С января, с утра, с яйца,
Далеконько до конца.
Сорок мне! Сорок четвертый,
Сорок три всего лишь мне.
Битый, раненый и тертый,
Прошагавший по войне.
Прошагавший вдоль по культу,
По его грязи, пыли,
Руки у меня — не культя!
Ноги — а не костыли!
Все сначала начинаю.
Карандашик очиняю.
Сочиняю новый стих.
Не смирился я. Не стих.



Pogorenko 40

* * *

Сорок сороков сорокалетних
однокурсниц и соучениц,
по уши погрязших в сплетнях,
пред успехом падающих ниц,
все же сердобольных, все же честных,
все же (хоть по вечерам) прелестных,
обсудили и обговорили
и распределили все места
и такую кашу заварили!
Ложка в ней стоймя стоит — крута!

Эти сорок сороков я знал
двадцать лет назад — по институту,
и по гулкости консерваторских зал,
по добру, а также и по худу.
Помню толстоватых и худых,
помню миловидных, безобразных,
помню работающих, помню праздных,
помню очень молодых.

Я взрослел и созревал
рядом с ними, сорока сороками,
отмечал их дни рождения строками,
а на днях печали — горевал.
Стрекочите и трезвоньте,
сорок сороков, сорок сорок,
пусть на вашем горизонте
будет меньше тучек и тревог.

* * *

Увидимся ли когда-нибудь?
Земля слишком велика,
а мы с вами — слишком заняты.
Расстанемся на века.

В какой-нибудь энциклопедии
похожесть фамилий сведет
твое соловьиное пение
и мой бытовой оборот.

А в чьих-нибудь воспоминаниях
в соседних упоминаниях
меня и вас учтут
и в перечне перечтут.

* * *

Когда маячишь на эстраде
Не суеты и славы ради,
Не чтобы за нос провести,
А чтобы слово пронести,

Сперва — молчат. А что ж ты думал:
Прочел, проговорил стихи
И, как пылинку с локтя, сдунул
Своей профессии грехи?

Будь счастлив этим недоверьем.
Плати, как честный человек,
За недovesы, недомеры
Своих талантливых коллег.

Плати вперед, сполна, натурой,
Без торгу отпуская в кредит
• Тому, кто хмурый и понурый,
Во тьме безмысленно сидит.

Проси его проверить снова,
Что обещанное слово
Готово кровью смыть позор.
Заставь его ввязаться в спор,

Чтоб — слушал. Пусть сперва со злобой,
Но слушал, слышал и внимал,

Чтоб вдумывался, понимал
Своей башкою крутолобой.

И зарабатывай хлопóк —
Как обрабатывают хлопóк.
О, как легко ходить в холопах,
Как трудно уклоняться вбок.

* * *

Он просьбами надоедал.
Он жалобами засыпал
О том, что он недоедал,
О том, что он недосыпал.
Он обижался на жену —
Писать не раскачается.
Еще сильнее — на войну,
Что долго не кончается.
И жил меж нас, считая дни,
Сырой, словно блиндаж, толстяк.
Поди такому объясни,
Что не у тещи он в гостях.
В атаки все же он ходил,
Победу все же — добывал.
В окопах немца находил.
Прикладом фрица — добывал.
Кому какое дело,
Как выиграна война.
Хвалите его смело,
Выписывайте ордена.
Ликуйте, что он уцелел.
Сажайте за почетный стол.
И от сырых полен горел,
Пылал, не угасал костер.

РЕМОНТ ПУТИ

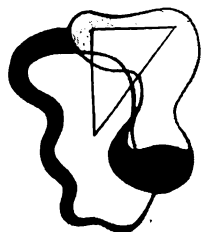
Электричка стала. Сколько
будет длиться эта стойка?
Сколько поезд простоит?
Что еще нам предстоит?

Я устал душой и телом.
Есть хочу и спать хочу.
Но с азартом оголтелым
взоры вокруг себя мечу.

Любопытство меня гложет:
сколько поезд простоит?
Сколько это длиться может?
Что еще нам предстоит?

Все вокруг застыли словно:
есть хотят и спать хотят,
но замшелые, как бревна,
связываться не хотят.

Очи долу опускает,
упадает голова,
та, в которой возникают
эти самые слова.



* * *

Врагом его явным считали,
что тайного выше врага.
И с ненавистью читали,
здоровались за три шага.

А он понимал это, видел
и, хоть углубляться не стал,
вовсе не ненавидел,
как, впрочем, и не читал.

ЧЕРНАЯ ИКРА

Ложные классики
ложками поутру
жрут подлинную, неподдельную, истинную икру,
но почему-то торопятся,
словно за ними гонится
подлинная, неподдельная, истинная конница.

В сущности, времени хватит, чтобы не торопясь
съесть, переварить и снова проголодаться
и зажевать по две порции той же икры опять —
если не верить слухам и панике не поддаться.

Но только ложноклассики верят в ложноклассицизм,
верят, что наказуется каждое преступление,
и все энергичнее, и все исступленнее
ковыряют ложками кушанье блюдечек из.

В сущности, времени хватит детям их детей,
а икры достанет и поварам и слугам,
и только ложные классики
робко и без затей
верят,
что будет воздано каждому по заслугам.

* * *

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума —
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,
Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

* * *

Значит, можно гнуть. Они согнутся.
Значит, можно гнать. Они — уйдут.
Как от гнуса, можно отмахнуться,
зная, что по шее — не дадут.

Значит, если взяться так, как следует,
вот что неминуемо последует:
можно всех их одолеть и сдюжить,
если только силы поднатужить,
можно всех в бараний рог скрутить,
только бы с пути не своротить.

Понято и к исполнению принято,
включено в инструкцию и стих,
и играет силушка по жилушкам,
напрягая, как веревки, их.



* * *

Как ты на эту трусость отважился?
Наши-то все не решались, и ваши все
смелости этакой не набрались.

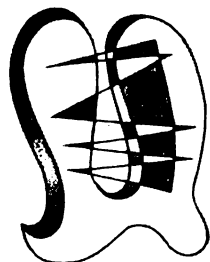
Ты-то, амеба, медузова слизь,
как ты решился на нерешительность?

Ну и подарки нам дарит действительность!
Глядь, да поглядь, да мозгами раскинь.

Эдакий, сделался как ты таким?

* * *

Семь с половиной дураков
смотрели «Восемь с половиной»
и порешили: не таков
сей фильм,
чтобы пошел лавиной,
чтобы рванулся в киносет
и ринулся к билетным кассам
народ. Его могучим массам
здесь просто нечего глядеть.



* * *

— Руки у Венеры обломаем,
мраморной — ей руки ни к чему.
Молотком пройдемся по эмалям.
Первый, если надо,— я начну.

Сколько глоток этот крик кричали,
сколько помогало им кричать.
Начали с Венерой.

Раскачали.

Не решились сбрасывать. Кончать.

То, что эта женщина без рук,
значит, что, во-первых, их отбили,
во-вторых, что все же люди были
и опамятавались вдруг.

О СМЕРТНОСТИ ЮМОРА

Остроумие вымерло прежде ума
и растаяло, словно зима
с легким звоном сосуллек
и колкостью льдинок.
Время выиграло без труда поединок.

Прохудились, как шубы на рыбьем меху,
и остроты, ценимые наверху,
и ценимые в самых низах анекдоты,
развивавшие в лицах все те же остроты.

Видно, рвется, где тонко,
и тупится, где
острие заостреннее, чем везде.
Что легко, как сухая соломка,
как сухая соломка, и ломко.

Отсмеявшись, мы жаждем иных остроумцев,
а покуда внимаем тому, кто толков,
основателен, позитивен, разумен
и умен,
даже если и не остроумен.

* * *

Не домашний, а фабричный
у квасных патриотов квас.
Умный наш народ, ироничный
не желает слушаться вас.

Он бы что-нибудь выпил другое,
но, поскольку такая жара,
пьет, отмахиваясь рукою,
как от овода и комара.

Здесьшний, местный, тутошний овод
и национальный комар
произносит свой долгий довод,
ничего не давая умам.

Он доказывает, обрисовывает,
но притом ничего не дает.
А народ все пьет да полевывает,
все полевывает да пьет.

« — НЕ!»

Арионы высушат на солнышке
мокрые и драные отрепья.
Арионы посидят на пенушке,
оглядят великолепье
мира, после бури в самом деле
мирного, и света светлого.
— Высушили? Ну, теперь надели!
Бури, урагана, ветра
хочется попробовать вам снова
в нашей или дальней стороне? —
Арионы, сжавшись от озноба,
отвечают: — Не!

* * *

Горлопанили горлопаны,
голосили свои лозунга,—
а потом куда-то пропали,
словно их замела пурга.

Кой-кого замела пурга,
кое-кто, спавши с голоса вскоре,
ухватив кусок пирога,
не участвует больше в споре.

Молчаливо пирог жует
в том углу, где пенсионеры.
Иногда кричит: «Во дает!» —
горлопанам новейшей эры.



* * *

Распустим общества защиты
Животных и растений.
А «Друг детей»
Заменим «Другом взрослых»,
Сосредоточим все свои усилия
На нас самих.
Когда нам станет лучше, станет лучше
Животным, и растениям, и детям.
Добром второго сорта заменяют
Напрасно первосортное добро.

* * *

Люблю антисемитов, задарма
дающих мне бесплатные уроки,
указывающих мне мои пороки
и назначающих охотно сроки,
в которые сведут меня с ума.

Но я не верю в точность их лимитов —
бег времени не раз их свел к нулю —
и потому люблю антисемитов!
Не разумом, так сердцем их люблю.

АЗБУКА И ЛОГИКА

Сказавший «А»
сказать не хочет «Б».
Пришлось.
И вскоре по его судьбе
«В», «Г», «Д», «Е»
стучит скороговорка.
Арбузная
«А» оказалась корка!
Когда он поскользнулся, и упал,
и встал, он не подумал, что пропал.
Он поскользнулся,
но он отряхнулся,
упал, но на ноги немедленно встал
и даже думать вовсе перестал
об этом.
Но потом опять споткнулся.

Какие алфавит забрал права!
Но разве азбука всегда права?
Ведь простовата
и элементарна
и виновата
в том, что так бездарно
то логикой, а то самой судьбой
прикидывается пред честным народом.
Назад! И становись самой собой!
Вернись в букварь, туда, откуда родом!

По честной формуле «свобода воли»
свободен, волен я в своей судьбе
и самолично раза три и боле,
«А» сказанув, не выговорил «Б».

УДАЧНИК

Как бы ни была расположена
или не расположена
власть,
я уже получил что положено.
Жизнь уже удалась.

Как бы общество ни информировалось,
как бы тщательно ни нормировалась
сласть,
так скупно выделяемая,
отпускаемая изредка сласть,
я уже получил все желаемое.
Жизнь уже удалась.

Я — удачник!
И хоть никуда не спешил,
весь задачник
решил!
Весь задачник,
когда-то и кем-то составленный,
самолично перед собою поставленный,
я решал, покуда не перерешил.

До чего бы я ни добрался,
я не так уж старался,
не усиливался, не пыхтел
ради славы и ради имения.
Тем не менее —
получил, что хотел.

ПАМЯТИ ОДНОГО ВРАГА

Умер враг, который вел огонь
в сторону мою без перестану.
Раньше было сто врагов.
Нынче девяносто девять стало.

Умер враг. Он был других не злее,
и дела мои нехороши.
Я его жалею от души:
сотня — цифра все-таки круглее.

Сколько лет мы были неразлучны!
Он один уходит в ночь теперь.
Без меня ему там будет скучно.
Хлопнула — по сердцу словно — дверь.

СЫН НЕГОДЯ

Дети — это лишний шанс.
Второй —
Данный человеку богом.

Скажем, возвращается домой
Негодяй, подлец.
В дому убогом
Или в мраморном дворце —
Мальчик повисает на отце.

Обнимают слабые ручонки
Мощный и дебелий стан.
Кажется, что слабая речонка
Всей душой впадает в океан.

Я смотрю. Во все глаза гляжу —
Очень много сходства нахожу.

Говорят, что дети повторяют
Многие отцовские черты.
Повторяют! Но — и растворяют
В реках нежности и чистоты!

Гладит по головке негодяй
Ни о чем не знающего сына.
Ласковый отцовский нагоняй
Издагает сдержанно и сильно:
— Не воруй,
Не лги
И не дерись.

Чистыми руками не берись
За предметы грязные.

По городу
Ходит грязь.
Зараза — тоже есть.
Береги, сыночек, честь.
Береги, покуда есть.
Береги ее, сыночек, смолоду.

Смотрят мутные его глаза
В чистые глаза ребенка.
Капает отцовская слеза
На дрожащую ручонку.

В этой басне нет идей,
А мораль у ней такая:
Вы решаете судьбу людей?
Спрашивайте про детей,
Узнавайте про детей —
Нет ли сыновей у негодяя.

ПЕРЕСУД

Даже дело Каина и Авеля
в новом освещении представили,
а какая давность там была!
А какие силы там замешаны!
Перемеряны и перевзвешены,
пересматриваются все дела.

Вроде было шито, было крыто,
но решения палеолита,
приговоры Книги Бытия
в новую эпоху неолита
ворошит молоденький судья.

Оказалось, человечности
родственно понятие бесконечности.
Нет окончательных концов.
Не бывает!
А кого решают —
в новом поколеньи воскрешают.
Воскрешают сыновья отцов.

Плохие времена тем хороши,
что выявлению качества души
способствуют и казни, и война,
и глад, и мор — плохие времена.

Пока ты цел, пока ты сыт, здоров,
не зван в суды, не вызвал докторов,
неведомы твой потолок и цель,
параметры — темны, пока ты цел.

Когда ты бит, когда тебя трясут,
и заедает вошь, и мучит суд,
ты бытию предпочитаешь быт.
Все выясняется, когда ты бит.

Но иногда все существо твое
предпочитает все же
бытие,
и власть теряет над людьми беда,
когда бывает это иногда.

Что за необычная зима!
Все провозглашенные морозы
Не коснулись ни стиха, ни прозы,
Не вошли в семейства и дома.

Кошки не хотят ловить мышей —
В мировой истории впервые.
Не пугают больше малышей,
Не желают больше —
домовые.

Злые псы — теперь не злые псы,
И дощечка на заборе
Вывешена для красоты,
Уберут ее, наверно, вскоре.

На турнирах в шахматы и шашки
Все теперь играют в поддавки.
И пришли из рая ходоки,
Чтобы наши перенять замашки.

* * *

Активная оборона стариков,
вылазка, а если можно — наступление,
старых умников и старых дураков
речи, заявления, выступления.

Может быть, последний в жизни раз
это поколение давало
бой за право врак или прикрас,
чтобы все пребыло, как бывало.

На ходу играя кадыками,
кулачонки слабые сжимая,
то они кричали, то вздыхали,
жалуясь железно и жеманно.

Это ведь не всякому дается
наблюдать, взирать:
умирая, не сдается
и кричит рать.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОРОКА

Даже Новый Завет обветшал.
Ветхий — он, одним словом, ветхий.
Нужен свежий листок на ветке,
Юный голос, что нам бы вещал.

Закрывается первая книга,
Дочитали ее до конца.
У какого найти мудреца
Ту, вторую и новую книгу.

Где толковник,
 где тот разумник,
Где тот старший и младший пророк,
Кто собрал бы раздетых, разутых,
Объяснил бы про хлеб и про рок.

Сухопарый, плохо одетый,
Он, по-видимому, вроде студента,
Напряжен, застенчив, небрит,
Он, наверное, только учится,
Диамат и истмат зубрит.
О ему предстоящей участи
Бог ему еще не говорит.

Проглядеть его — ох, не хочется.
В людях это — редчайший сорт.
Ведь судьба его, словно летчица,
Мировой поставит рекорд.



МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Счастьице в готовом
платьице с готовым
окончательным ответом
на любой вопрос,
счастьице от пары папирос,
от зари с рассветом.
Счастьице, без всяческих сомнений
и без долгих прений
порешившее, что мир хорош,
простенькое, как растенье рожь,
перешившее шинель в пальто,
годное при любой погоде,
но зато
по последней моде.

Это счастьеце, уверенное, что
только в нем и счастье,
справедливо, кажется, отчасти.

Верно. Кто довольствуется им —
тот доподлинно доволен.
Вместе с микрокосмосом своим
он спокоен, волен.

Счастье пионера,
в горн трубящее,
или же пенсионера,
утром сколько хочешь спящее!
Ну и что же? Все же это — счастье.
За него, что стоит — заплачу.
Обозвать его мещанским —
не хочу!

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАРОГО ДОМА

Старый дом как живой старичок:
то вздохнет холодильник,
то счетчик
запоет, как живой сверчок,
или зашелестит, как начетчик.

Рассыхаются половицы
и бормочут вроде старух,
а обои, как отроковицы,
все трещат во весь дух.

Очень скучно переселяться
в новый дом и приспособляться
к тишине, к молчанью его,
спать, конечно, отнюдь не мешающему,
но зато и не означающему
ничего, ничего,
совсем ничего.

ЗЛЫЕ СОБАКИ

Злые собаки на даче
Ростом с волка. С быка!
Эту задачу
мы не решили пока.

Злые собаки спокойно
делают дело свое:
перевороты и войны
не проникают в жильё,
где благодушный владелец
многих безделиц,
слушая лай,
кушает чай.

Да, он не пьёт, а вкушает
чай.
За стаканом стакан.
И — между делом — внушает
людям, лесам и стогам,
что заработал
этот уют,
что за работу
дачи дают.

Он заслужил, комбинатор,
мастер, мастак и нахал.
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял по войне?

Скоро ли в нашей Отчизне
дачу построят и мне?
Что-то не слышу
толков про крышу.
Не торопиться
мне с черепицей.
Исподволь лес не скупать!
В речке телес не купать!
Да, мне не выйти на речку,
и не бродить меж лесов,
и не повесить дощечку
с уведомленьем про псов.
Елки зеленые,
грузди соленые —
не про меня.

Дачные псы обозленные,
смело кусайте меня.

РЕПЕРУНИЗАЦИЯ

Выдыбает Перун отсыревший,
провонявший тиной речной.
Снова он — демиург озверевший,
а не идол работы ручной.

Снова бог он и делает вдох
и заглатывает полмира,
а ученые баяли: сдох!
Баснями соловья кормили.

Вот он — держится на плаву,
а ныряет все реже и реже.
В безобразную эту главу
кирпичом — потяжеле — врежу.

Врежешь! Как же! Лучше гляди,
что там ждет тебя впереди.
Вот он. И — вот она — толпа.
Кто-то ищет уже столпа
в честь Перунова воскрешенья
для Перунова водруженья.

Кто-то ищет уже столба
для повешенья утопивших.
Кто-то оду Перуну пишет.
Кто-то тихо шепчет: судьба.

Не воду в ступе толку,
а перевожу в строку,
как пишется старику,
как дышится старику,

и как старику неможется,
и вовсе нельзя помочь,
и как у него итожится
вся жизнь в любую ночь.

Я это в книжках читал,
я это в фильмах глядел,
но я отнюдь не считал,
что это и мой удел.

Оказывается, и мой!
И, мыкая эту беду,
я, словно к себе домой,
в обычную старость бреду.

Как правильно я поступал,
когда еще молодым
я место в метро уступал
морщинистым и седым.

* * *

В утиль меня сдали. Копейки по две
за килограмм. На полтора
рубля. Как сдали, сложили подле
всего утиля в глубине двора.

По две копейки, словно кости,
словно иконы — за килограмм.
А я ведь ходил когда-то в гости.
А я ведь любил когда-то сто грамм.

Ну что ж: я подвержен тому же закону,
которому — кости, а также иконы,
на что-нибудь, как и они, пригожусь
и этим, если скажут, горжусь.

И я не желаю качать права,
поскольку попал туда, куда хочется:
из малого круговорота — общества
в огромный круговорот — естества.



ТЕЛЕФОН

Сначала звонил телефон,
но дело кончалось набатом,
который, как взорванный атом,
ревел в упоеньи лихом.

Гудки или, скажем, звонки,
которые слышались в трубке,
звучали предвестием рубки,
ломающей все позвонки.

В эпоху такую и дату
ничуть телефон не плошал,
звонил, награждал и лишал,
трещал, вызывал нас куда-то.

Ниспосланный лично судьбой,
ее представлял интересы,
звонил убедительно, трезво
и звал то на суд, то на бой.

СТРАСТЬ К ФОТОГРАФИРОВАНИЮ

Фотографируются во весь рост,
и формулируют хвалу, как тост,
и голоса фиксируют на пленке,
как будто соловья и коноплянки.

Неужто в самом деле есть архив,
где эти фотографии наклеят,
где эти голоса взлелеют,
как прорицанья древних Фив?

Неужто этот угол лицевой,
который гож тебе, пока живой,
но где величье даже не ночует,
в тысячелетия перекочует?

Предпочитаю братские поля,
послевоенным снегом занесенные,
и памятник по имени «Земля»,
и монумент по имени «Вселенная».

В РИФМУ

Небьющееся — разлетелось вдрызг,
и нержавейка вся заржавела,
но солнечный
 все золотее диск
не только Пушкина,
но и Державина.

Надежнее надежды
и, конечно,
вернее веры
легкие стихи.
Не прочно
все срифмованное —
вечно.
Все, кроме чепухи и шелухи.
Усиле их
без сожаленья зрю.
И снова, снова в рифму говорю.

КАК Я СНОВА НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ

Как ручные часы — всегда с тобой,
тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль,
боль, боль — не могу.

Слабая боль головная,
тихая, затухающая,
словно тропа лесная,
прелью благоухающая.
Скромная боль, невидная,
словно дождевка летняя,
словно девица на выданье,
тридцати — с чем-нибудь — летняя.

Я с ней просыпался,
с ней засыпал,
видел ее во сне,
ее сыпучий песок засыпал
пути-дорожки

мне.

Но вдруг я решил написать стих,
тряхнуть стариной.
И вот головной тик — стих,
что-то случилось со мной.

Помню, как ранило: по плечу
хлопнуло.

Наземь лечу.

А это — как рана наоборот,
как будто зажило вдруг:

падаешь вверх,
отступаешь вперед
в сладостный испуг.

Спасибо же вам, стихи мои,
за то, что, когда пришла беда,
вы были мне вместо семьи,
вместо любви, вместо труда.
Спасибо, что прощали меня,
как бы плохо вас ни писал,
в тот год, когда, выйдя из огня,
я от последствий себя спасал.
Спасибо вам, мои врачи,
за то, что я не замолк, не стих.
Теперь я здоров! Теперь — ворчи,
если в чем совру,
мой стих.

* * *

Был печальный, а стал печатный
Стих.

Я строчку к нему приписал.
Я его от цензуры спасал.

Был хороший, а стал отличный
Стих.

Я выбросил только слог.
Большим жертвовать я не смог.

НЕ — две буквы. Даже не слово.

НЕ — я снял. И все готово.

Зачеркнешь, а потом клянeshь

Всех создателей алфавита.

А потом живeshь деловито,

Сыто, мыто, дуто живeshь.

Было стыдно. Есть мне не хотелось.
Мне хотелось спать и умереть.
Или взять резинку и стереть
Все, что написалось и напелось.
Вырвать этот лист,
Скомкать, сжечь, на пепле потоптаться.
Растереть ногою слизь.
Не засчитываться, не считаться.
Мне хотелось взять билет
Долгий. Не на самолет. На поезд...
И героем в двадцать лет
Сызнава ворваться в повесть.
Я ложился на диван,
Вдавливался в пружины —
Обещанья твердого режима
Сам себе торжественно давал:
Буду делать это, но не то,
Буду то писать, не это,—
А потом под ливень без пальто
Выходил, как следует поэту.
И старался сразу смыть, смыть, смыть
Все, что может мучить и томить.

ДЫХАНИЕ В ЗАТЫЛОК

Неустройство сосудов, сумятица жил,
грусть в душе, меланхолия в сердце тупая.
В общем:

— Вы в этом веке уже старожил,—
говорит новосел, место мне уступая.

Уступает мне место народ молодой,
ожидая, когда же свое уступлю я —
не в метро! За живой и за мертвой водой
место в очереди уступлю чистоплюю,

у которого руки чисты и душа
словно щеткой зубной до сиянья надраена.
Ожидает, когда я уйду.
Не спеша
ожидает,
как водопровода — окраина.

В общем, это закон и — люблю — не люблю —
все под ним, по истории и наблюдениям.
Терпеливо слежу за насмешливым бдением.
Терпеливо дыханье в затылок терплю.



* * *

Учтя подручный матерьял,
свой неглубокий опыт,
систем я создавать не стал,
а стал глазами хлопать.

Не стал я на манер газет
всему давать оценки,
стал безответственно глазеть
то случаи, то сценки.

Не стал я создавать систем,
пишу лишь то, что вижу,
и с чем я был, остался с тем,
не поднялся я выше.

* * *

Как бы чувства ни были пылки,
как бы ни были долги пути,
очень тесно стоят могилки,
очень трудно меж них пройти.

Территория мертвого уже,
чем живой рассчитывать мог,
и особенно — если лужи
и тропинка ползет между ног.

К точке сведены все пространства.
Все объемы в яму вошли.
Охлаждаются жаркие страсти
от сырой и холодной земли.

ЗАВЕЩАННОЕ ВСЕМ

Завещанное — за вещами.
Оно завешано старьем.
Оно не в тексте завещаний,
а в сердце бьющемся моем.

Придется книги перебрать
и обувь ветхую отбросить,
чтоб выступило, как на рать,
чтоб выступило, словно проседь,

чтоб выступило, словно чтец,
скандирующий страницу.
И чтоб дошло до всех сердец
то, что в моем теперь таится.

* * *

Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запомняешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.

Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!

Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе, в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.

Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.

АСТРОНОМИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ

Говорят, что Медведиц столь медвежеватых
и закатов, оранжевых и рыжеватых,—
потому что, какой же он, к черту, закат,
если не рыжеват и не языкат,—

в небесах чужеземных я, нет, не увижу,
что граница доходит до неба и выше,
вдоль по небу идет, и преграды тверды,
отделяющие звезду от звезды.

Я вникать в астрономию не собираюсь,
но, родившийся здесь, умереть собираюсь
здесь! Не где-нибудь, здесь! И не там —
только здесь!
Потому что я здешний и тутошний весь.

* * *

Я был росой.
Я знал, что высохну
и в пору зноя
и нос не высуну.

Но в час вечерний,
а также утренний
я снова выпаду
на прежнем уровне.

Участвуя в круговороте,
извечно принятом в природе,
воспринимал я поражения
не только как сплошные беды,
но как прямое продолжение
счастливых радостей победы.

Мне с первым снегом вместе таять
казалось детской игрой.
Я знал, что вскоре прилетает
снег следующий,
снег второй.

То чувство локтя,
чувство цепи,
в котором хоть звено — мое,
обширнее тайги и степи,
таинственней, чем житие

святого, что, кладя на плаху
голову,
 свою беду влача,
сочувствовал тихонько страху
перед грядущим —
 палача.

* * *

Уже хулили с оговоркой,
уже хвалили во все горло,
но старость с тщательностью горькой
безоговорочно приперла.

Она суммарные оценки
с понятным ужасом отводит,
она нас припирает к стенке,
но разговоров — не разводит.

Она молчит. Стыдится, верно,
поднять глаза на нас, и все же
с ужасностью обыкновенной
она идет, как дрожь по коже.

Это не беда.
А что беда?
Новостей не будет. Никогда.

И плохих не будет?
И плохих.
Никогда не будет. Никаких.



* * *

Ни ненависти, ни зависти
к этой шумливой завязи
иных цветов и древес.
Я в эти сферы не лез.
Я с ними соприкасался,
но только по касательной,
хотя иногда касался
их мой перст указательный.
Я не эталон, не мера.
Мне вторить — напрасный труд.
Пускай с меня примера
они никогда не берут.

Может, этот молодой
поэт, с его лепетом —
там, за далью золотой,—
Пушкин или Лермонтов?

Может, мучает он слух,
терзает рассудок,
потому что есть в нем дух
гениальных шуток?

И хотя в нем смыслу нет,
с грамотешкой худо,
может, молодой поэт
сотворяет чудо?

Нет, не сотворит чудес —
чудес не бывает,—
он блюдет свой интерес,
книжку пробивает.

Поскорей да побыстрей,
без ненужной гордости,
потому что козырей
нету, кроме молодости.

* * *

Бюрократические сны
о заседаниях мне снятся.
И ночью, в зоне тишины,
с учета не сумел я сняться.
И ночью числюсь я за днем,
и то симпозиум, то форум
мне видится со всем, что в нем,
то с разговором, то со спором.
Жестикулирую во тьме,
аргументирую под утро,
и продлевается в сознании
законченное на собраньи.
И я встаю и достаю
бутылки потную прохладу
и воду, кашлянувши, пью,
словно докладчик среди доклада.

* * *

Прорывая ткань покровов
ритма, рифмы, мастерства,
вдруг просвечивает Слово
через темные слова.

Рыба прорывает сети,
прорываясь до реки,
потому что рифмы эти,
как и ритмы,— пустяки.

Потому что это вам
не игра в бирюльки:
жизнь свою отдать словам,
выдать на поруки.

СЛАВА

Местный сумасшедший, раза два
чуть было не сжегший всю деревню,
пел «Катюшу», все ее слова
выводил в каком-то сладком рвении.

Выходил и песню выводил,
верно выводил, хотя и слабо,
и когда он мимо проходил,
понимал я, что такое слава.

Солон, сладок, густ ее раствор.
Это — оборот, в язык вошедший.
Это — деревенский сумасшедший,
выходящий с песнею во двор.

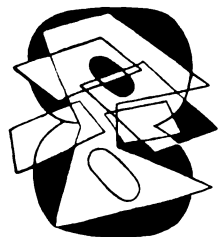
* * *

На пророка бывает проруха:
ошибется, и напрочь вали.
Расценяют, как сплетни и слухи,
то, что напророчествовали.

У пророков бывают прорехи,
и пороки, и огрехи,
и не худо входить в положение,
в положение пророка входить
и судить не по пораженью,
а по высшей победе судить.

Между тем много реже soprano
этот дар: эта память вперед.
Всех пророков мира собранье
даже дюжину не соберет.

Так давайте побольше чуткости
к тем, кто крепок передним умом,
и не будем требовать четкости
от воскуренных ими дымов.



Начата посмертная додача.
Все, что, сплетничая и судача,
отобрали, додадут в речах —
лишь бы наш покойник не зачах.

Все, что вопросительными знаками
недодали, пока был живой,
восклицательными знаками
додадут с лихвой.

Только окончательная мгла
перспективы облегла,
только добредешь ты до угла,
сразу улучшаются дела.

Все претензии погибнут сразу
и отложенный вопрос — решат.
Круглые и жалостные фразы
все противоречья разрешат.

Когда эпохи идут на слом,
появляются дневники,
писанные задним числом,
в одном экземпляре, от руки.

Тому, который их прочтет
(то ли следователь, то ли потомок),
представляет квалифицированный отчет
интеллигентный подонок.

Поступки корректируются слегка.
Мысли — очень серьезно.
«Рано!» — бестрепетно пишет рука,
где следовало бы: «Поздно».

Но мы просвечиваем портрет
рентгеновскими лучами,
смываем добавленную треть
томления и отчаяния.

И остается пища: хлеб
насущенный, хотя не единый,
и несколько недуховных потреб,
пачкающих седины.

Хватит ли до смерти? Хватит.
Хватит на мой век с верхом.
И когда морозец схватит
зеркало воды ледком,

я уйду под лед, бедняга,
век за мною — не нырнет,
и хладеющая влага
надо мною льды сомкнет.

Я уйду, а век продлится
после кратких лет моих.
Каплею успев пролиться,
каплей высохну я вмиг.

Не дошедший до преддверья
века нового — уйду,
не узнавши, не проверя
его счастье и беду.

Воспитан в духе жадной простоты
с ее необходимостью железной,
я трачу на съедобное, полезное,
а Таня любит покупать цветы.

Цветок — он что? Живет не больше дня,
от силы два. А после он завянет.
Но Таня молча слушает меня —
любить цветы она не перестанет.

Вдруг тень ее мелькает на стене.
Вдруг на столе горячий светик вспыхнет.
И что-то засветилось во мне:
цветок, цветок, цветок пришел ко мне —
на малое великое подвигнет.

* * *

Я был кругом виноват, а Таня мне
все же нежно сказала: — Прости! —
почти в последней точке скитания
по долгому мучающему пути.

Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась —
прошенья попросить захотела.

А я ничего не видел кругом —
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом
и я был жив,
а она умирала.

Мне легче представить тебя в огне, чем в земле.

Мне легче
взвалить на твои некрепкие плечи
летучий и легкий,
вскипающий груз огня,
как ты бы сделала для меня.

Мы слишком срослись. Я не откажусь от желанья
сжимать, обнимать негасимую светлость пыланья
и пламени
легкий, летучий полет,
чем лед.

Останься огнем, теплотою и светом,
а я, как могу, помогу тебе в этом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Жена умирала и умерла —
в последний раз на меня поглядела,—
и стали надолго мои дела,
до них мне больше не было дела.

В последний раз взглянула она
не на меня, не на все живое.
Глазами блеснув,
тряхнув головою,
иным была она изумлена.

Я метрах в двух с половиной сидел,
какую-то книгу спроста листая,
когда она переходила предел,
тряхнув головой,
глазами блистая.

И вдруг,
хорошая на всю болезнь,
на целую жизнь помолодела
и смерти молча сказала: «Не лезь!»
Как равная,
ей в глаза поглядела.

То, что было вверено, доверено,
выпускать из рук не велено,
вдруг
выпустил из рук.

Звук прервали, свет потух.
То, что было на меня записано,
от чего вся жизнь моя зависела,
отлетело, легкое как пух.

Улетело тихо, как душа,
имя, что душа моя вытверживала,
то, что на плаву меня поддерживало
до конца. Даже чуть-чуть дыша.

Мужья со своими делами, нервами,
чувством долга, чувством вины
должны умирать первыми, первыми,
вторыми они умирать не должны.

Жены должны стареть понемногу,
хоть до столетних дойдя рубежей,
изредка, впрочем, снова и снова
вспоминая своих мужей.

Ты не должна была делать так,
как ты сделала. Ты не должна была.
С доброй улыбкою на устах
жить ты должна была,
долго должна была.

Жить до старости, до седины
жены обязаны и должны,

делая в доме свои дела,
чьи-нибудь сердца разбивая
или даже — была не была —
чарку — в память мужей — распивая.

Мой товарищ сквозь эту потерю прошел
лет пятнадцать назад,
и он вспомнил, как выход нашел:
— Телевизор купи,— говорит,— телевизор
и сиди вечерами, вперив в него взор,
словно ты в доме отдыха ревизор
или провинциальный провизор.

Я с момента изобретения
телевидения не люблю.
Тем не менее, тем не менее
телевизор я вскоре куплю,
потому что, как ни взгляну,
все четыре программы полезны,
чтоб засыпать образовавшуюся бездну
и заполнить установившуюся тишину.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВУ

Я обучен одиночеству.
Я когда-то умел это делать,
знал эту работу:
встать пораньше, лечь попозже,
никому не мешая
и не радуясь
никому.
Долгий день в промежутке от утра и до вечера
провести, никому не мешая
и никому не радуясь.
Я забыл одиночество.
Точно так же, как, проучившись лет восемь игре на рояле
и дойдя до «Турецкого марша» Моцарта
в харьковской школе Бетховена,
я забыл весь этот промфинплан,
эту музыку,
Бетховена с Моцартом
и сейчас не исполню даже «чижик-пыжика»
одним пальчиком,—
точно так же я позабыл одиночество.
Точно так же, как, выучив некий древний язык
до свободного чтения текста,
забыл алфавит —
я забыл одиночество.
Надо все это вспомнить, восстановить, перевыучить.
Помню, как-то я встретился
с составителем словарей того древнего,
мною выученного и позабытого
языка.
Оказалось, я помню два слова: «небеса» и «яблоко».

Я бы вспомнил все остальное —
все, что под небесами и рядом с яблоками,—
нужды не было.
Подхожу к роялю и тычу пальцами в клавиши:
о-ди-но-че-ство!
Выбиваю мотив одиночества.
У меня есть нужда
вспомнить, восстановить, реставрировать,
вновь освоить,
перечувствовать до конца
одиночество.

* * *

Небольшая синица была в руках,
небольшая была синица,
небольшая синяя птица.
Улетела, оставив меня в дураках.

Улетела, оставив меня одного
в изумленьи, печали и гнев,
не оставив мне ничего, ничего,
и теперь — с журавлями в небе.

Каждое утро вставал и радовался,
как ты добра, как ты хороша,
как в небольшом достижимом радиусе
дышит твоя душа.

Ночью по несколько раз прислушивался:
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
чем эти жалость, страх, любовь.

Чем только мог, с судьбою рассчитывался,
лишь бы не гас язычок огня,
лишь бы еще оставался и числился,
лил, как прежде, твой свет на меня.

Все калечится и увечится.
Вымогает сон и покой.
Вся надежда — на человечество.
На себя — уже никакой.

Вся надежда — на ход исторический,
поступательный. На прогресс.
И в надежде той истерической
ты теряешь к себе интерес.

Вся надежда — на надежду,
что еще дотлевет в тебе.
Уголек, что еще не погас,
закрывающиеся вежды
раскрывает в последний раз.

* * *

— Что вы, звезды?
— Мы просто светим.
— Для чего?
— Нам просто светло.—
Удрученный ответом этим,
самочувствую тяжело.

Я свое свечение слабое
обуславливал
то ли славою,
то ли тем, что приказано мне,
то ли тем, что нужно стране.

Оказалось, что можно просто
делать так, как делают звезды:
излучать без претензий свет.
Цели нет и смысла нет.

Нету смысла и нету цели,
да и светишь ты еле-еле,
озаряя полметра пути.
Так что не трепись, а свети.

Какие они, кто моложе меня
на тридцать лет, кому двадцать лет,
кто еще не проверил лотерейный билет,
не прикурил от собственного огня!
Кто они, говорящие почти на одном
языке со мною, почти те же святыни
чтящие, но глядящие глазами пустыми
на переворачивающее меня вверх дном.
Спрашиваю — кто вы? Слышу в ответ
имена, фамилии, годы рожденья,
иногда просьбу дать совет,
иногда — мнение (для подтверждения).
Но чаще всего слышу стихи.
Слишком слышанные. Слишком похожие.
Пустяки. А пустяки
не ощущаю дрожью по коже я.
А я не хочу советы давать.
Мне нужно знать, кому сдавать
пост, куда я поставил
сам себя давным-давно,
знать, чье загорится окно,
когда опустится мой ставень.

* * *

Век вступает в последнюю четверть.
Очень мало непройденных вех.
Двадцать три приблизительно через
года — следующий век.

Наш состарился так незаметно,
юность века настолько близка!
Между тем ему на замену
подступают иные века.

Между первым его и последним
годом
жизни моей весь объем.
Шел я с ним — сперва дождиком летним,
а потом и осенним дождем.

Скоро выпадут снегом, снегом
вместе с ним, двадцатым веком.

За порог его не перейду,
и заглядывать дальше не стану,
и в его сплоченном ряду
прошагаю, пока не устану,
и в каком-нибудь энском году
на ходу
упаду.

Говорят, что попусту прошла
жизнь: неинтересно и напрасно.
Но задумываться так опасно.
Надо прежде завершить дела.

Только тот, кто сделал все, что смог,
завершил, поставил точку,
может в углышке листочка
сосчитать и подвести итог:

был широк, а может быть, и тесен
мир, что ты усердно создавал,
и напрасен или интересен
дней грохочущий обвал,

и пассивно или же активно
жизнь прошла,—
можно взвесить будет объективно
на листочке, на краю стола.

На краю стола и на краю
жизни я охотно осознаю
то, чего пока еще не знаю:
жизнь мою.

Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в тень,
На худой конец и про черный день.
Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сжужусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?

ПЕРЕМНЫ

Перемены бывают не часто.
Редок пересчет, перемер.
Раза три я испытывал счастье,
упоение от перемен.

Раза три, а точнее, четыре
перемен совершался обвал,
и внезапно светлело в квартире,
где с рождения я пребывал.

Словно вьюга, мела перемена,
словно ливень весенний, лила.
Раза три, утверждаю я смело,
перемена большая была.

От судьбы отломилась бы милость,
то-то б разодолжил меня бог,
если б снова переменялось,
изменилось еще хоть разок.

СОДЕРЖАНИЕ

Шестое небо	3
«Пошуми мне, судьба, расскажи...» .	4
Ключица	5
Обои	6
Современные размышления . .	8
Бог	10
Хозяин	11
«Всем лозунгам я верил до конца...» .	12
Наши	13
Два стихотворения	15
«На спину бросаюсь при бомбежке...» .	17
«Остановился на бегу...»	18
Ведро мертвецкой водки	19
«Когда мы вернулись с войны...» .	21
Ключ	23
Послевоенные выставки	25
«Конец сороковых годов...»	27
«Мои друзья не верили в меня...» . .	28
Добавка	29
Где лучше всего мыслить	31
«Я строю на песке, а тот песок...» . .	32
«Отбиваться лучше в одиночку...» .	33
Отложенные тайны	34
Прозаики	35
Лопаты	37
Прощание	38
Время все уладит	39
После реабилитации	40
«В двадцатом веке дневники...» . .	42
«Снова нас читает Россия...»	43
Читательские оценки	44
«Время кружит меня по кругу...» .	45
«Гамлет этого поколения...»	46
«Ведомому неведом...»	48
Случай	49
Ошибки Гегеля	50
«Охапкою крестов, на спину взваленных...» .	51
Происхождение	52
«Первый доход: бутылки и пробки...» .	53
«Как говорили на Конном базаре?...» . .	54
Ударения	56
«Черта под чертою. Пропала оседлость...» .	57
Размол кладбища	58
«Я в первый раз увидел МХАТ...»	60
Баллада	61
«Знак был твердый у этого времени...» .	63

«Строго было...»	64
«Снова дикция — та, пропитая...» .	65
«Всю жизнь готовишься...»	67
«Гром аплодисментов подтверждал...» .	68
«В драгоценнейшую оправу...» . . .	69
«Я был плохой приметой...»	70
Обращение к читателю	71
Молчание	73
И срам и ужас	74
«Уменья нет сослаться на болезнь...» . .	75
Совесть	76
Сенькина шапка	77
«Вспоминаний вспомнить не велят...» .	78
Старые офицеры	79
Рука	81
Названия и переименования .	83
Орфей	85
Немка	89
Домик погоды	91
«Десятилетье Двадцатого съезда...» .	93
«Я когда был возраста вашего...» . . .	94
Обе стороны письменного стола	95
«Поэты малого народа...»	96
«Шуба выстроена над калмыком...» . . .	97
Евгений	98
«Интеллигенты получали столько же...»	100
Памятник старины	101
«Лакирую действительность...»	102
«Все правила — неправильны...» . . .	103
«Критики меня критиковали...» . . .	104
Ночные голоса	105
Месяц — май	106
«Половина лавины...»	109
«Последний был в отмену предпоследних...» .	110
Бесплатная снежная баба	111
Стихосписание в резерве комсостава . .	112
«Мне первый раз сказали: «Не болтай!»...» .	113
«Расстреливали Ваньку-взводного...» . .	114
РККА	115
«Как залпы оббивают небо...»	116
По рассказу Л. Вольнского	118
«У меня было право жизни и смерти...» .	119
Про евреев	121
«Ставлю на черз одно поколение...» . . .	122
Хочется жить	123
«А что сулят нам перемены?...» . . .	124
Кнопка	125
Горожане	127
Недодача	129
Баба Маня	131
«Поколению по имени-отчеству...» .	133
Первый овощ	134
«Бывший кондрашка, ныне инсульт...» .	135
«Никоторого самотека!..»	136
«Запах лжи, почти неуследимый...» .	137
Ограничитель	138
«Кто нищей подаст в электричке...» .	139

«Категориальное мышление...»	140
Институт	142
Издержки прогресса	144
Тени костра	145
Не за себя прошу	147
Проступающее детство	148
«Полюбил своей холодной душой...»	149
Объективная эпитафия	150
Столетья в сравнении	151
«В промежутке в ожидании электрички...»	153
«Необходима цель...»	154
«Сласть власти не имеет власти...»	155
«Поэты потрясали небеса...»	156
«Громкий разговор на улице...»	157
«Романы из школьной программы...»	158
Первый век	159
«Звенела древесина клавесина...»	160
«Слепой просит милостыню у попугая...»	161
Вскрытие мощей	162
«Нечего усиливаться, тщиться...»	163
«С бытием было проще...»	164
Седые брови	165
Предки были молодыми	167
«Смерть продолжает бытие...»	168
Месса по Слуцкому	169
«Ну что же, я в положенные сроки...»	171
«От отчаяния к надежде...»	172
Что почем	173
«В этот день не обходили лужи...»	175
«Проводы правды не требуют труб...»	176
Сдерживанье недовольства	177
Знаешь сам!	179
«Покуда над стихами плачут...»	180
«Хорошо бы, жив пока...»	181
Все сначала!	182
«Справедливость — не приглашают...»	183
«Сорок сороков сорокалетних...»	185
«Увидимся ли когда-нибудь..»	186
«Когда маячишь на эстраде...»	187
«Он просьбами надоедал...»	189
Ремонт пути	190
«Врагом его явным считали...»	191
Черная икра	192
«Люди сметки и люди хватки...»	193
«Значит, можно гнуть. Они согнутся...»	194
«Как ты на эту трусость отважился?...»	195
«Семь с половиной дураков...»	196
«— Руки у Венеры обломает...»	197
О смертности юмора	198
«Не домашний, а фабричный...»	199
«— Не!»...»	200
«Горлопанили горлопаны...»	201
«Распустим общество защиты...»	202
«Люблю антисемитов, задарма...»	203
Начало боли	204
Азбука и логика	205
Удачник	207

Памяти одного врага	208
Сын негодяя	209
Пересуд	211
«Плохие времена тем хороши...»	212
«Что за необычная зима!..»	213
«Активная оборона стариков...»	214
Необходимость пророка	215
Мещанское счастье	217
Преимущества старого дома	218
Злые собаки	219
Реперунизация	221
«Не воду в ступе толку...»	222
«В утиль меня сдали. Копейки по две...»	223
Телефон	224
Страсть к фотографированию	225
В рифму	226
Как я снова начал писать стихи	227
«Был печальный, а стал печатный...»	229
«Было стыдно. Есть мне не хотелось...»	230
Дыхание в затылок	231
«Учтя подручный матерьял...»	232
«Как бы чувства ни были пылки...»	233
Завещанное всем	234
«Будущее, будь каким ни будешь!..»	235
Астрономия и автобиография	236
«Я был росую...»	237
«Уже хулили с оговоркой...»	239
«Это не беда...»	240
«Ни ненависти, ни зависти...»	241
«Может, этот молодой...»	242
«Бюрократические сны...»	243
«Прорывая ткань покрыва...»	244
Слава	245
«На пророка бывает проруха...»	246
«Начата посмертная додача...»	247
«Когда эпохи идут на слом...»	248
«Хватит ли до смёрти? Хватит...»	249
«Воспитан в духе жадной простоты...»	250
«Я был кругом виноват, а Таня мне...»	251
«Мне легче представить тебя в огне...»	252
Последний взгляд	253
«То, что было вверено, доверено...»	254
«Мужья со своими делами, нервами...»	255
«Мой товарищ сквозь эту потерю прошел...»	256
Переобучение одиночеству	257
«Небольшая синица была в руках...»	259
«Каждое утро вставал и радовался...»	260
«Все калечится и увечится...»	261
«— Что вы, звезды?..»	262
«Какие они, кто моложе меня...»	263
«Век вступает в последнюю четверть...»	264
«Говорят, что попусту прошла...»	265
«Завяжи меня узелком на платке...»	266
Перемены	267

Составитель — Юрий Леонардович Болдырев

Борис Абрамович Слуцкий

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Редактор В. С. Фогельсон
Художественный редактор Д. С. Мухин
Технический редактор Н. Б. Панфилова
Корректор В. Е. Бораненкова

ИБ № 6315

Сдано в набор 14.06.88. Подписано к печати 22.11.88. А 03436. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Журнальная рубленая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 7,9. Тираж 47000 экз. Заказ № 422. Цена 85 коп. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Слуцкий Б. А.

С 49 Стихи разных лет: Из неизданного.— М.: Советский писатель, 1988.— 272 с.

ISBN 5—265—00327—4

Борис Слуцкий (1919—1986), один из крупнейших мастеров советской поэзии, издал при жизни более десяти книг, однако в архиве его осталось множество стихотворений, еще не известных читателям. Часть из них и составила первую посмертную книгу поэта, подготовленную к печати Комиссией по его литературному наследию.

4702010202—435

С 083(02)—88 236—88

083(02)—88

ББК 84Р7

